А. ФАДЕЕВ

ЛЕНИНГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ

из дневника

советский писатель
1944

А. ФАДЕЕВ — Ленинград в дни блокады

А. ФАДЕЕВ

ЛЕНИНГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ

(ИЗ ДНЕВНИКА)

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва — 1944

Ф-15

2В.

Город великих зодчих

На всю жизнь останется в моей памяти этот вечер конца апреля 1942 года, когда самолет, сопровождаемый истребителями, низко-низко шел над Ладожским озером и под нами на растрескавшемся, пузырившемся и кое-где уже залитом водой льду открылась взору дорога, единственная дорога, в течение зимы связывавшая Ленинград со страной. Ленинградцы назвали ее Дорогой Жизни. Она уже сместилась, расползлась и местами тоже была залита водой. Самолет шел прямо на дымный, багровый, расплывшийся шар солнца, а позади, на всем пространстве оставленного нами берега, лежал на верхушках хвойного леса весенний, нежный свет заката.

«Ленинград! Каким я увижу его? Каким он стал после всех трудностей первой военной зимы? Как выглядят его дома, улицы? Что передумали и перечувствовали за это время его люди? И каковы они теперь, эти люди?»

Такие мысли и чувства теснились в моей душе.

По сообщениям советской печати и по рассказам очевидцев я знал, сколь жестокой была зима 1941—1942 года для ленинградцев. В самую тяжелую ее пору норма хлеба для ра-

бочих доходила до 200 граммов, а для служащих и не работающих членов семей — до 125 граммов. Норма продовольствия была крайне скудной и недостаточной для жизни. Люди голодали и умирали от голода. Топлива едва хватало для поддержания наиболее важных промышленных предприятий, наиболее крупных госпиталей и совершенно необходимых учреждений. Весь город стоял без света, обледеневший. Трамвай не ходил. Водопровод и канализация не действовали. Улицы поросли толстой, в метр толщиной, ледяной корой, были завалены снегом и отбросами.

Вид пешехода — мужчины, женщины или подростка, везущего детские санки с прикрученным к ним телом покойника, обернутым в одеяло или кусок полотна,— стал обычной принадлежностью зимнего ленинградского пейзажа. Вид человека, умирающего от голода на заснеженной улице, стал не редкостью в Ленинграде. Пешеходы проходили мимо, снимая шапки или сказав два-три слова участия, а иногда и совсем не задерживаясь, потому что помочь было нечем.

В течение осени 1941 года Ленинград подвергался сильным бомбардировкам с воздуха. Этой весной они возобновились. В течение осени и зимы Ленинград находился под систематическим артиллерийским обстрелом.

Всему миру известно, что при всех этих чеимоверных трудностях и лишениях ленинградцы не только выстояли, не только отразили натиск вооруженной до зубов гитлеровской армии, но нанесли врагу огромные потери в

людях и технике, проложили по льду Ладожского озера дорогу и благодаря этой дороге освободились от тисков голода.

Как совершилось это чудо истории? Где нашли люди Ленинграда эти силы?

Спутником моим по самолету был поэт Николай Тихонов, постоянный житель Ленинграда. Эту суровую зиму, так же как и зиму войны с Финляндией 1939—1940 года, он провел в Ленинграде, в рядах армии. На короткое время он был вызван в Москву Союзом писателей для выполнения некоторых работ литературного характера и сейчас возвращался в родной город лауреатом Сталинской премии 1941 года. Он получил Сталинскую премию за поэму «Киров с нами» и стихи, посвященные Отечественной войне советского народа против германского фашизма. Целая группа писателей — лауреатов Сталинской премии, в том числе и Тихонов, пожертвовали свои премии на строительство танков. Дорогой Тихонов волновался, хватит ли его премии на постройку настоящего большого танка и попадет ли он в руки опытного боевого командира.

Была уже глубокая ночь, чуть подморозило, дул холодный, пронизывающий ветер, доносивший до нас раскаты дальних одиночных орудийных выстрелов, когда на грузовой машине мы въехали в город.

И в неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами величественные и прекрасные перспективы Ленинграда: Нева, спокойно и величаво катившая свои холодные воды; набережная, каналы, дворцы, громада Исаакия,

Адмиралтейство и Петропавловская крепость, вознесшие острые шпили к ночному небу.

В иных местах, зияя темными провалами окон или полностью обнажив развороченные внутренности, стояли дома, обрушенные фугасными бомбами или поврежденные снарядами. Но эти, то одиночные, то более частые, следы разрушений не могли изменить облика города великих зодчих. Он раскинулся передо мной совершенно такой же, каким я много раз видел его до войны. В его стройных перспективах, в его цельных ансамблях, в его строгости и размахе было что-то бесконечно прекрасное.

Николай Тихонов стоял на грузовике, покачиваясь на своих цепких ногах старого кавалериста. Сняв фуражку, горящими глазами он смотрел на родной город. Ветер развевал его рано поседевшие волосы.

— Смотри, смотри! — говорил он, схватив меня за руку.— Это необъяснимо... Я не узнаю его. Как это случилось?

Никаких следов обледенения или остатков слежавшегося почерневшего снега, никаких завалов мусора не было на чудесных улицах Ленинграда. Город был необыкновенно чист. Он был даже более чист, чем до войны. Его площади, набережные, улицы поблескивали в ночи, как стальные.

И тут же, на машине, из уст старого рабочего-грузчика мы услышали волнующую повесть о том, как жители Ленинграда очистили свой город от страшных следов зимней блокады.

— Надо было видеть, каким он был! — рассказывал старик.— Никто из людей не верил,

что это можно убрать. А как стало пригревать солнце, навалились все, как один. И кого только не было на улицах! И домашние хозяйки, и школьники, и ученые — профессора, и доктора, и музыканты, старики и старухи. Тот с ломом, тот с лопатой, тот с заступом, у того метла, тот с тачкой, тот с детскими саночками. Иные чуть ноги волочат. А то впрягутся человек пять в детские саночки и тащат, тащат — на большее силы нет. И что же? Посмотри, как убрали! — сказал старик, сам точно удивляясь, с улыбкой гордости на изможденном лице.— Ну-у, теперь мы оперились,— сказал он, продолжая какую-то свою мысль.— Дай только срок, мы еще взмахнем крылами. Пускай о н не надеется! — закончил старик с той ровной, устоявшейся ненавистью, которая не нуждалась уже ни в какой аффектации, и кивнул в ту сторону, откуда доносились раскаты орудийных выстрелов.

И мы невольно посмотрели в ту сторону, а потом снова на город. Несокрушимый, он стоял, мощно раскинувшись в пространстве,— строен и величав.

Рыбинская, 5

Название этой улицы и номер дома — вымышленные: я пишу эти строки в дни, когда город еще доступен артиллерийскому обстрелу. Это — квартира Тихонова.

Сколько нас, работников пера из всех республик и городов Советского Союза, ночевало под ее гостеприимным кровом! Сколько стихов прочитано здесь на всех языках наших на-

родов,— стены этой квартиры опалены стихами. Сколько поэтической молодежи прошло через эти стены! И сколько людей всех профессий из разных концов нашей необъятной земли — от кочевника-скотовода до мастера завода и командира Красной Армии — побывало здесь!

Дом № 5 по Рыбинской улице находится на одном из участков города, излюбленном врагом для артиллерийского обстрела. Почему? Этого никто не может объяснить. Здесь нет ни крупных предприятий, ни каких-либо важных учреждений. Но изо дня в день враг шлет и шлет сюда снаряды. Одна из улиц, параллельная Рыбинской, почти разрушена артиллерийским обстрелом.

— Это наш передний край, а мы — во втором эшелоне,— шутя сказал мне Тихонов, когда мы подъезжали к его дому.

Улица была пустынна и тиха. Я стоял с вещами у подъезда большого темного здания, такого тихого, что оно казалось вымершим, и слышал, как звучали шаги Тихонова по темной лестнице до самого верхнего этажа.

Я слышал, как он стучал в дверь, некоторое время постояла тишина, потом послышались женские возгласы, дверь распахнулась, и женские возгласы, радостные и возбужденные, покатились по лестнице.

И вот я снова, после года войны и блокады, был на Рыбинской, 5, среди сваленных как попало узлов и чемоданов, окруженный взволнованными смеющимися лицами, оглушенный множеством голосов. Все говорили сразу, каждый о своем, и я тоже что-то говорил.

— Скажи,— ты свежий человек,— скажи, как мы выглядим? Похожи мы на дистрофиков? — спрашивала Мария Константиновна, жена Тихонова.

Впервые я слышал это слово «дистрофик», производное от слова «дистрофия», обозначающего страшную болезнь истощения

— Нет, я думаю, мы не похожи на дистрофиков. Главное — работать и работать, тогда ничто не страшно. Вы посмотрите на моих оленей,— указывая на картину, изображающую оленей, говорила дочь умершего зимой художника Петрова, жившая теперь у Тихоновых.

— Ты обязательно должен сходить в наш детский дом,— говорила мне свояченица Тихонова, Ирина Мерц.— Ты знаешь, мы выходили всех детей, мы ни одному не дали умереть. Ты знаешь, ведь я и Оля,— она указала на дочь,— работаем теперь в детском доме.

— Нет, мама, я так волнуюсь о Ясике! — одновременно с матерью говорила дочь.— Ясик — сиротка, отец у него на фронте, мать умерла, и он такой слабенький,— все повторяла она, обращаясь ко мне.

Тут же стояла молодая женщина, видимо из крестьянок. Я узнал, что она колхозница, бежавшая в Ленинград при приближении немцев и нашедшая приют у Тихоновых. Она была на восьмом месяце беременности. Муж ее был на фронте.

— А что ему нужно, маленькому Ясику? — спросил я.

— Ему нужна манная кашка.

Я раскрыл чемодан и достал кулек манной крупы.

— Чудесно! Мама, я завтра же с утра пойду к нему и сварю ему манную кашку,— восторженно говорила девушка.— Этого ему надолго хватит. Теперь Ясик будет жить. Вот это чудесно!

На ней, как и вообще на людях ее возраста, и прежде всего на девушках и молодых женщинах, в первую очередь сказалось общее улучшение в продовольственном положении Ленинграда. Это была здоровая, краснощекая и на первый взгляд веселая девушка. Но я заметил в ее глазах, как замечал впоследствии в глазах многих ее сверстниц, особенное, взрослое выражение, возникавшее в минуты, когда она молчала. Этой зимой она потеряла отца.

Мы привезли с собой некоторое количество масла, сыра, икры, сахара и, конечно, тут же хотели всем поделиться и стали все выкладывать на стол.

— А это вы зря,— спокойно сказала Мария Константиновна.— Нам столько не надо: вам многое придется раздать товарищам. А кроме того, вам самим придется здесь пожить некоторое время, и это вам еще пригодится. Завтра я все это приведу в порядок, а сейчас я напою вас чаем и накормлю с дороги рисовой кашей.

Мария Константиновна отсыпала из кулечка рисовой крупы, сполоснула ее водой и поставила на железную печку вариться.

Потом необыкновенно быстро и ловко, точно она всю жизнь занималась этим, она финским ножом расколола мелкое поленце на щепочки и побросала их в печурку.

— Настоящие дрова у нас появились только сегодня,— говорила она, не прекращая своей работы.— Здесь неподалеку от артиллерийского обстрела пострадал маленький деревянный домик, и районный совет разрешил нашему кварталу использовать его на дрова. Мы с Ирой и Олей сами пилили бревна, и сами носили сюда, на шестой этаж. Я даже не знала, что мы такие сильные. А до этого мы мебелью топили, мебель прекрасно горит, замечательные дрова! — говорила она, полная презрения к истинному назначению мебели и с искренним уважением к ней, как к одному из видов топлива.— Ты знаешь, что мы никогда не имели пристрастья к барахлу и не украшали своей квартиры красным деревом. Но только этой зимой обнаружилось, сколько за двадцать лет накопилось в доме ненужной мебели. Я сожгла уже целый гардероб, несколько кресел, этажерок, рам для картин и вижу, что еще хватило бы на целую зиму.

Мы сидели в полумраке. Электричества не было. Лампы не зажигали из экономии керосина. Чуть мерцали, дымя, две коптилки — по случаю нашего приезда, обычно горела только одна.

Я не узнавал обстановки, привычной и неизменной на протяжении полутора десятка лет, в течение которых я её знал. Все было сдвинуто и перемещено или, как выражаются кинематографисты, перемонтировано, применительно к новым условиям быта. Основой этого быта могла быть только одна комната и именно та, в которой мы сидели, потому что в ней помещалась единственная в квартире печ-

ка. Комната была приспособлена под кухню, спальню, рабочий кабинет. В квартире было холодно: дом сильно промерз за зиму и все не мог отогреться.

По общему облику квартиры можно было видеть, что хозяева делают все, чтобы она имела жилой вид. Но независимо от их воли вся квартира потемнела, точно закоптилась. Паркетный пол давно не натирался,— некому и нечем было натирать. Часть стекол в окнах вылетела от артиллерийской стрельбы и была заменена фанерой. Водопровод не действовал, воду приходилось носить снизу ведрами.

Я много лет знал людей, которые окружали меня. Это были все те же люди. Все те же, но и другие. Да, в них было что-то новое. Что? Я не мог сразу уловить, понять.

Я помнил Марию Константиновну большой, физически сильной женщиной, всегда просто и со вкусом одетой. Теперь она была в домашнем рабочем комбинезоне, в повязанном поверх него синем фартуке. Она сильно похудела, черты ее лица обострились, но в нем обозначилась энергия и какая-то новая моральная сила. Внешне она походила теперь на долговязого рабочего паршику. По ее свободным широким движениям и по тому, как выглядела ее одежда, можно было видеть, что ей пришлось в течение этой зимы выполнять много черной физической работы.

Об этом, прежде всего, говорили ее руки. По профессии Мария Константиновна — художница, художница в специфической области. Она делает куклы тончайшей работы для

кукольных театров, для выставок, для театральных макетов и просто для себя. Ее руки были словно приспособлены для этой работы, с длинными кистями, нервными, сильными и точными в движениях пальцами. Это были все те же руки, пальцы стали еще тоньше, но в складках рук и на суставах пальцев отложились неистребимые следы тяжелой физической работы. За эту зиму ей пришлось выполнять много такого, от чего до войны и блокады были свободны женщины интеллигентного труда: носить дрова и воду на верхний этаж по обледеневшим ступеням, скалывать лед и колоть дрова, топить печурку, стирать, стряпать, мыть полы, ухаживать за чужими детьми, выносить из дому умерших родственников и вместе с другими очищать свой квартал от снега и мусора с наступлением весны.

Я не осудил бы ее, как художницу, если бы она при постороннем человеке, видевшем ее в лучшие времена, стала стесняться этих своих рук. Еще большее право имела бы она гордиться передо мной этими своими руками после всего пережитого. Но она не стеснялась своих рук и не гордилась ими. Она стала другой женщиной, женщиной осажденного Ленинграда и, как все женщины этого города, спокойно, свободно и естественно выполняла то, что надо было. И если в выражении ее лица и в ее словах проскальзывали иногда черты и нотки гордости, это была гордость за Ленинград, которая так характерна для всех ленинградцев, перенесших трудности военной зимы и блокады.

— То, что мы все здесь пережили, это бы-

ло испытание характера,— говорила Мария Константиновна, сидя на маленькой низенькой скамейке возле печурки и то подбрасывая в нее щепки, то помешивая рисовую кашу.— Если не считать стариков, людей больных или от природы слабых здоровьем, из нормальных здоровых людей прежде всего умирали те, кто был слаб характером, кто морально опускался, утрачивал волю к труду и слишком много внимания обращал на желудок. Я уже видела — если человек перестает мыть себе шею и уши, перестает ходить на работу и сразу съедает свой паек, лежа под одеялом,— это не жилец на белом свете. Но мы, русские люди,— трехжильные. О ленинградцах можно сказать, что они выжили назло врагу. Николай сколько раз предлагал мне уехать, а я не уезжала, потому что знала, что я и ему нужна и такие, как я, нужны в городе, потому что я все могу перенести. Если залезть на крышу нашего дома, а мы там всю осень дежурили и тушили зажигалки,— оттуда видно все расположение немцев. И если бы они знали, с кем имеют дело, они давно бы бросили все и убежали. Ведь любая домашняя работница, любой сопливый мальчишка давно уже не боятся немцев, презирают их и не сомневаются в том, что им не только Ленинграда никогда не взять, но что они не уйдут отсюда живыми.

И снова я заметил эту черту, характерную для подавляющего большинства ленинградцев, переживших блокадную зиму: ощущение города, как своего единого большого дома, и всех ленинградцев, как единой большой семьи, прошедшей через общее для всех тяжелое испы-

тание. Как и во всякой семье, одни члены семьи обнаружили свои наиболее сильные стороны, а были и такие, что повернулись наиболее слабыми сторонами. Были отдельные члены семьи, которые повели себя дурно, но зато столько выдвинулось героев — гордости всей семьи! И при всем сложном переплете личных и иных отношений дом от врага отстояли, а семья в подавляющем своем составе оказалась крепкая, сплоченная, удивительная семья. И когда ленинградец рассказывает о перенесенных им испытаниях, он всегда говорит, как представитель этой удивительной, крепкой семьи и как хозяин этого большого удивительного дома.

Когда разговариваешь с ленинградцами, это чувство единого дома и единой семьи сразу включает свежего человека в строй самых больших и важных мыслей о войне, о смысле ее, о нашем народе, о родине, о ее прошлом, настоящем и будущем. Эту первую ночь в Ленинграде мы совершенно не ложились спать и все говорили, говорили, и мы знали, что мы должны говорить и не можем расстаться, пока не выговорили всего. Мы пели старинные русские песни и без конца читали стихи. Уже можно было поднять темные занавеси на окнах и потушить коптилки.

— Только подумай! Немцы стоят под городом, а мы вот сидим здесь, переговорили о всей нашей жизни, о всей нашей истории и вот поем песни — и плевать хотели на немцев! — весело говорил Тихонов.— Они все сгниют в земле, как гниют уже сотни тысяч и миллионы из них, а город наш все будет сто-

ять и мы будем в нем жить, трудиться, писать стихи и петь наши русские песни.

Да, несмотря на то, что немцы стояли под самым городом, Рыбинская, 5, попрежнему оставалась несокрушимой цитаделью поэзии и жизни.

Улица в апреле

Я был разбужен грохотом зениток. Апрельское солнце стояло в окне, и с моего дивана видно было, как вспыхивают в небе круглые белые, сверкающие тугие облачка.

Тихоновы пили чай, видно, они и не ложились.

— Воздушная тревога? — спросил я, входя в комнату.

— Может быть, — отвечала Мария Константиновна, — у нас в квартире нет радио.

— Тебе надо итти в убежище.

— Кто же из ленинградцев ходит в убежище?

— Вот и глупо. Можно погибнуть из-за случайности.

Мария Константиновна вдруг прямо взглянула на меня, хотела что-то сказать, но не сказала и стала молча пить чай, мелко прикусывая сахар. Я понял, что после всего, что она пережила, трудно запугать ее бомбежкой.

— Как я узнаю, когда отбой? — спросил я.

— Ты это узнаешь по трамвайным звонкам. Если пошел трамвай, значит отбой.

— А давно у вас возобновился трамвай?

— Недавно. Это было такое чудо, что люди со всего города сбежались его смотреть. Некоторые плакали. И в первый день все ус-

тупали друг другу дорогу и даже уступали места в трамвае. В этом было что-то...— она подумала, подыскивая слово, и неожиданно сказала: — дистрофическое. Теперь, слава богу, на трамвайных остановках уже давка, все уже ругаются попрежнему, и это первый признак, что люди оживают.

Ленинградская улица была особенной улицей, не похожей на улицу любого другого города СССР.

Дома, как старые ветераны, несли на себе следы то больших, то меньших ранений. У иных выбиты стекла, у иных стены исковерканы осколками снарядов, а иные стоят и вовсе словно без ноги или без руки. Но среди этих домов-ветеранов на улице продолжалась живая, не умирающая жизнь большого столичного города.

Стены зданий, заборы, киоски, витрины взывали к ленинградцам десятками и сотнями воззваний, плакатов, обращений. Среди них были оставшиеся от первых дней войны или от осени 1941 года. Потемневшие от времени, они для приезжего человека являлись наглядными свидетелями истории. Да, осада Ленинграда уже имела свою историю, запечатленную на стенах города.

Среди этих молчаливых свидетелей грозных дней я увидел свежие афиши о том, что в зале Филармонии состоится бетховенский концерт под управлением К. И. Элиасберга, а в Музыкальной комедии готовится премьера «Лесная быль».

В течение всей войны происходила эвакуация населения из Ленинграда. Даже в течение

зимы 1941—1942 года по Ладожской дороге было вывезено из Ленинграда свыше семисот тысяч человек. Нечего скрывать, что известная часть населения Ленинграда вымерла от холода и голода. И все-таки в Ленинграде было еще очень много народа.

Прежде всего это был город военных и моряков. Армия и флот, их защитное и синее обмундирование давали основной тон улице Ленинграда. И — это был город в осаде, где гражданское население в значительной своей части было военизировано. Через ряд переходных звеньев гражданское население незаметно превращалось в военное и сливалось с ним: милиция, ПВО, работники госпиталей, Всевобуч, работники связи, военизированные работники советских, партийных, общественных организаций. То там, то здесь на улицах и площадях шло военное учение. Здоровый вид этих людей, их военная выправка, их жизнерадостность и юмор давали тон всей улице. По тому, как много в этой ленинградской толпе было женщин и девушек в военной и полувоенной, и даже флотской форме, можно было судить, насколько выросла роль женщины во всем деле обороны Ленинграда.

По внешнему виду толпы можно было судить и о перенесенных ленинградцами лишениях и о том, что эти лишения остались позади.

Еще очень много было изможденных лиц. Изредка попадались сидящие на приступке у подъезда или бредущие на тонких ногах настолько высохшие люди и с такими черными лицами, что видно было: этих уже вряд ли

спасти. Но это были одиночки. Большинство в толпе составляли люди здоровые, энергичные, деятельные, и люди, точно оправившиеся после тяжелой болезни, находящиеся на той ступени физического становления и духовного подъема, когда уже видно, что жизнь в человеке восторжествовала.

Вот двое, муж и жена, уже совсем здоровые, оживленные, ведут под руку пожилую женщину, должно быть, мать одного из них. Она тихо передвигает слабыми ногами, конфузливо улыбается, точно стесняясь своей слабости. А они ведут ее медленно, ласково, бережно. Иногда — это две пожилые подруги ведут третью, иногда — это жена ведет под руку более слабого мужа.

Некоторые вещи, обычные в любом другом месте, приобретают характер значительности в Ленинграде. Я видел, как красноармеец помог сесть в трамвай изможденной маленькой старушке. Он подхватил ее сзади подмышки сильными руками и поднял через все ступеньки прямо в тамбур. Она обернулась к нему и вдруг сказала с глубокой серьезностью:

— Спасибо, сынок... За то ты останешься жив. Запомни мои слова—пуля тебя не возьмет.

Ленинградская толпа этого первого дня моего пребывания в городе не была яркой весенней уличной толпой. Несмотря на солнечный день, было еще прохладно, да, видно, в ленинградцах еще жива была память о зимних холодах,— холод гнездился в их костях. Люди ходили в осенних пальто, а многие, особенно из старых людей, еще в зимних шубах и шапках.

Во весь уличный пейзаж необыкновенно трогательное оживление вносили дети. Их вывели на солнце из детских домов. Они, щебеча, играли в сквериках или катались по панели на трехколесных велосипедиках, или возились с игрушками на солнечной стороне улицы. А иные, более слабые, тихо и серьезно, нахохлившись, сидели на солнышке в своих белых капорах. Они еще только отогревались, только приходили в себя.

Со времен гражданской войны Ленинград сохранил традицию расклеивать на улицах газеты, как местные, так и московские. Московские газеты доставлялись в Ленинград в матрицах и здесь печатались. «Ленинградская правда» выходила теперь на двух полосах. Я подошел к группе людей, столпившихся у свежего номера «Ленинградской правды». На первой полосе было извещение об итогах двух массированных налетов врага на Ленинград. Враг совершил две попытки массированных налетов — в начале апреля и накануне того дня, когда мы прилетели в Ленинград. Враг пытался повторять то, что он безнаказанно делал осенью. Но он не знал, что Ленинград владеет теперь сильной авиацией. Во время обоих налетов врагу удалось сбросить на город известное количество бомб, но он понес сильное поражение в воздухе. Нашей авиацией и зенитной артиллерией были сбиты десятки самолетов. Ленинградцы живо комментировали это сообщение.

— А ну-ка, посмотрим, что пишет товарищ Андреенко! — значительно и весело сказал пожилой гражданин, протиснувшись к газете.

Я пробежал глазами полосы, ища статью за подписью Андреенко, но такой статьи не было. Тогда я проследил, куда устремлены глаза пожилого гражданина, и увидел, что он читает извещение Отдела торговли Ленинградского Совета. Оно было подписано начальником Отдела товарищем Андреенко.

Это было извещение о выдаче продовольствия для всех категорий населения к предстоящему празднику Первого мая. К выдаче была объявлена повышенная норма мяса, пшена, гороха, сельдей, сахара. Кроме того, по случаю праздника была объявлена выдача водки и пива. Я понял, что именно этим объясняется такое количество женщин на улицах с сумками и сетками для продуктов и то оживление, которое я читал на всех лицах.

Идя по улице, я заглядывал в булочные и продовольственные магазины. В этот первый день, как и все последующие, я нигде не встречал очередей,— магазинов было вполне достаточно, чтобы обслужить население. Очереди образовывались у газетных киосков, у молочных, где получали соевое молоко для детей, и у столовых усиленного питания. Столовые эти должны были в относительно короткие сроки, в несколько очередей пропустить наиболее ослабевшую часть населения Ленинграда. Естественно, в городе нехватало достаточного количества оборудованных помещений.

Когда со стороны проспекта Карла Либкнехта я подошел к Тучкову мосту, послышался визг снаряда,— он разорвался где-то на Васильевском острове. За ним — другой, тре-.

тий. Снаряды ложились за домами по той стороне моста. Видны были внезапно встававшие над домами столбы разрывов.

Никто и никак не отозвался на этот артиллерийский обстрел. Большая кучка народа, ожидавшая трамвая у Тучкова моста, продолжала так же стоять, и так же извивалась по тротуару очередь в столовую усиленного питания на углу. Пешеходы, переходившие по Тучкову мосту с Петроградской стороны на Васильевский остров, продолжали свой путь, хотя они шли в сторону падающих снарядов. Трамваи проходили с Васильевского острова и уходили туда же. Жизнь города ни в какой степени не нарушалась.

Я перешел Тучков мост и по Первой линии вышел на угол проспекта Пролетарской победы. Я увидел, что снаряды ложатся в глубине проспекта, но не на самом проспекте, а где-то в районе 11-й линии и глубже — в сторону 13-й, 15-й 17-й и т. д. Где-то там что-то горело, и черный дым вздымался к небу. По проспекту движение прекратилось. Но люди никуда не прятались, они просто стояли у стен домов или в подъездах и подворотнях, дожидаясь, когда обстрел кончится.

Из ворот одного из ближайших зданий вышла группа девушек в белых халатах и косынках, с сумками с красным крестом. Две из них несли пустые носилки. Я пошел вместе с девушками.

Мы шли по свежим следам разрушений. Один снаряд попал на самый проспект в районе 11-й линии, разворотив мостовую. Осколки снаряда сильно побили окна и стену здания

по одной стороне проспекта, но судя по тому, что ни в здании, ни вокруг не было никакого оживления, здание это было пустым.

Мы прошли немного дальше и в глубине 14-й линии, в сторону к Неве, увидели группу народа, окружившего и рассматривавшего что-то на панели. Девушки побежали в том направлении — и я за ними. Здесь лег тяжелый снаряд, разворотив панель и фундамент здания. Осколки камня, кирпича и известковая пыль покрывали панель. Блестящий осколок лежал среди известки. Я поднял его, он был еще теплый.

На панели лежала пожилая худощавая женщина. В скрюченной руке ее зажата была сетка, в которой виднелся хлеб, хвост селедки, торчащий из газеты, и какие-то кулечки. Несколько кровавых пятен расплылось на пальто возле бедра и плеча. Но погибла она от осколка, попавшего ей в голову. Ярко краснея, слепящая на солнце лужа крови растекалась по асфальту.

— Этой уже ничем не поможешь,— спокойно сказала одна из девушек-санитарок.

— Все равно надо убрать,— сказала старшая среди них.

Она быстро склонилась над женщиной и, стараясь не запачкаться кровью, стала осматривать карманы ее пальто.

— Вот видишь— паспорт и деньги. Зина, посмотри ее адрес, отнесешь продукты и скажешь домашним... А где ж карточки? — рассуждала она сама с собой. Она расстегнула женщине кофточку на груди, запустила пальцы за лиф и извлекла засаленные хлебные и

продовольственные карточки. — Ну вот они, слава богу. Отдашь и карточки. А то подумай, какое несчастье в семье — остаться без карточек...

Я вернулся на проспект и пошел к горящему дому. Снаряды ложились уже где-то в районе гавани. Горел деревянный, бревенчатый дом: его тушила не городская пожарная команда, а группа женщин и молодых людей из местной противопожарной дружины. Они, видно, не в первый раз занимались этим делом. Работало несколько брандспойтов. Парнишки, бесстрашные, полные презрения к огню, ловко растаскивали домик по бревнам и тут же окатывали их водой. Поразительно было не то, что обычные гражданские люди так споро и умело ликвидировали пожар, а то, что решительно никто, кроме меня, не наблюдал за этим зрелищем. Не было зевак возле пожара. Обстрел ушел дальше, люди, не занятые тушением пожара, просто шли по своим делам.

В течение этих первых дней моего пребывания в Ленинграде мне приходилось часто бродить по его улицам. На стенах зданий, на заборах, на дощатых обшивках окон подвальных этажей можно было встретить рукописные или отпечатанные на машинке объявления. Это были предложения обменять костюм или обувь, или золотые и серебряные предметы, или дорогую мебель на хлеб или продукты.

Было бы странным, если бы в блокированном городе не было попыток спекуляции. Но, как я впоследствии узнал, спекуляция в Ленинграде не приобрела и не могла приобрести широкого распространения. Спекулировать

в ленинградских условиях мог только человек, обладающий хлебом и продуктами питания, то есть преступник, обкрадывающий государство, ибо только государственные органы обладали запасами хлеба и продуктов. Но преступника, изобличенного в такого рода преступлении, могла ждать только одна кара — расстрел.

В Ленинграде был и сохранился до нынешних дней рынок. Это рынок обмена вещей на хлеб и продукты питания. Это своеобразный «рынок неимущих»: обмениваются люди, которые решили отказаться от чего-нибудь одного по необходимости приобрести другое. Если мне нужны ботинки, я решил сегодня поступиться своим хлебным пайком. Но, конечно, меновая стоимость хлеба и продуктов питания настолько высока на этом рынке, что можно, к примеру, за кило хлеба приобрести часы, а за стакан клюквы дамскую рубашку.

В некоторых случаях такие меновые операции узаконены и регулируются государственными органами. Так, на рынке в Лесном я видел колхозниц, с разрешения местной власти меняющих натуральное коровье молоко на хлеб из расчета пол-литра молока за 600 граммов хлеба.

Но для того, чтобы понять Ленинград и ленинградцев, нужно знать еще один факт. В течение всей блокадной зимы, весны и по сей день никто не торгует так продуктивно в Ленинграде, как книжные магазины. Тогда, в апреле, я был поражен количеством книжных киосков и просто вынесенных из магазинов на тротуар столиков со стопками книг, вокруг

которых с утра до вечера сменялись покупатели. Известно, что до войны хорошая и даже не очень хорошая книга в нашей стране шла нарасхват. Книгу трудно было найти, ее почти невозможно было купить индивидуальному покупателю. Книги, издающиеся в Ленинграде, поступают теперь только на внутренний городской рынок: их не на чем и некуда вывезти. В течение зимы Ленинградское отделение Государственного издательства художественной литературы выпустило «Войну и мир» Л. Толстого, «Красное и черное» Стендаля, «Цитадель» Кронина и некоторые другие книги. Они разошлись немедленно.

Из Ленинграда эвакуировались сотни тысяч людей. Они не могли вывезти с собой свои библиотеки и продавали их в государственные букинистические магазины. Появилась возможность приобрести книги, которых раньше почти невозможно было достать. И букинистические магазины торгуют очень бойко.

И все-таки самое сильное впечатление в эти первые дни производил внешний облик Ленинграда. Его сады, скверы, пустыри взрыты под блиндажи, щели, окопы, убежища. Он обладает зенитной артиллерией неслыханной огневой мощи, и, где бы ты ни шел, ты снова и снова натыкаешься на зенитки, замаскированные от наблюдения с воздуха, и вокруг них — обучающиеся расчеты то в армейской, то во флотской форме. Город обнесен сетью баррикад. Он покрыт дотами и дзотами, в домах его бойницы и пулеметные гнезда. Дети так же привыкли к проезжающим через город танкам, как к легковым и грузовым машинам:

И только обилие газогенераторных машин свидетельствует о том, какую Ленинград соблюдает экономию в бензине. И днем и ночью над Ленинградом барражируют наши самолеты. Ленинградец привык к их звуку и так же легко, как опытный боец, различает звуки вражеского самолета, когда он появляется в воздухе.

Так выглядела ленинградская улица в апреле.

На трамвае на фронт

В Союзе писателей я застал политрука, молодого загорелого парня в пилотке и сильно пропыленных сапогах. Он, видно, попал сюда издалека и очень торопился. Пот катил с него ручьями, и сквозь его суконную гимнастерку зимнего образца подмышками и на груди проступили темные пятна. Выражение глаз его было очень утомленное, он едва подымал почерневшие от бессонницы веки.

Группа молодых писателей окружала его, он записывал на бумажку их имена и фамилии.

— Куда вы собираетесь? — спросил я, здороваясь со своими товарищами, которых не видел еще с весны 1941 года.

— Поедемте с нами. Это политрук из части истребителей танков. Мы должны у них сегодня выступать.

— А где вы стоите? — спросил я политрука.

— Сейчас я вас запишу, чтобы заказать вам пропуск в Политуправлении, поедемте к нам на фронт,— отвечал он.

— Это так внезапно. Пожалуй, я не успею собраться.

— А чего, собственно, собираться? Сядем на трамвай — и там. А завтра поутру вернетесь.

Не прошло и получаса, как мы уже ехали на трамвае к одному из участков Ленинградского фронта. Мы проезжали одной из исторических окраин Ленинграда. Здесь разрушения, причиняемые ежедневным артиллерийским обстрелом, были заметнее. И улицы, и дома несли на себе следы более частых попаданий. Улицы опоясаны были сетью баррикад. В различных пунктах, на перекрестках, у мостов выстроены были орудийные доты и дзоты. Почти во всех подвальных помещениях были поделаны пулеметные гнезда и бойницы.

Но район жил той же жизнью, что и весь город. Население никуда не переселилось и не стремилось переселиться из своего района. Так же работали магазины, булочные, столовые усиленного питания. На улицах так же были расклеены газеты, воззвания, афиши, так же играли дети. И трамвай был полон народа, возвращавшегося с работы домой. Негде было сесть. Наш политрук почти засыпал стоя.

— Вы устали? — спросил я его.

— Да, мало приходится спать. Часть наша разбросана по фронту. Я работаю как начальник клуба. Политико-просветительную работу приходится вести и в подразделениях, которые находятся на переднем крае, и на нашей основной базе, там, где штаб и где мы обучаем резервы. Каждые сутки десятки километров исходишь пешком.

— Но вы удовлетворены своей работой?

— Еще бы! Так приятно доставить радость бойцу. К нам приезжают из города и лекторы, и докладчики, и писатели, и артисты. Вы увидите, как бойцы будут вам рады.

Мы доехали до конечного пункта трамвая. Здесь была военная застава, где проверяли документы. Но это еще не был конец жилой зоны. Километра два мы шли еще по населенным улицам, жители этого района имели постоянные пропуска. Но этот участок района отличался от предыдущих тем, что здесь повсеместно стояли воинские части. Здесь было больше военных, чем гражданских людей. Этот район был уже густо укреплен и обнесен сетью различных противотанковых препятствий.

Мы прошли еще несколько застав, где у нас проверяли документы, и наконец подошли к последней заставе почти за городом, где уже не было ни одного гражданского человека. Мы попали в дальние эшелоны одного из участков фронта.

Уже вечерело. На переднем крае началось боевое оживление — предвестник ночных боевых действий. Доносились звуки пулеметной и ружейной стрельбы, то смолкавшие, то возникавшие снова с удвоенной и утроенной силой. Где-то на правом фланге развертывалась артиллерийская дуэль.

Часть, в которую мы прибыли, была своеобразной и разносторонней школой истребителей танков. Инициатором этой школы был командир части майор Заводчиков, старый кадровый командир, участник гражданской войны, широкодушный, полный народного юмора, рус-

ский хлебосол, охотник, собаковод и любитель природы.

Пока шел наш литературный вечер, наступила ночь. На различных участках на переднем крае завязалась ожесточенная перестрелка. Наша артиллерия и артиллерия противника тоже вступили в дело, и под конец уже трудно было расслышать выступающих на вечере литераторов.

Майор Заводчиков, комиссар части и я расположились спать во временном бараке среди лесочка. Потушив свет, мы открыли окна. Ночь была ясная, звезды мерцали в небе. Пушки били так близко, что казалось — барак вот-вот рассыплется.

Спать не хотелось. Майор Заводчиков все расспрашивал о писателях, которых знал и почитал. Он очень любил Пришвина, как знатока природы и охоты, а вместе с детским писателем Чарушиным, умевшим так просто и хорошо рассказать детям о природе и о животных, он не раз охотился.

Я всегда люблю эти ночные разговоры на фронте, когда люди естественно и просто раскрывают свою душу и оборачиваются друг к другу самыми лучшими своими сторонами.

— Да, был я совсем молодым парнем, когда сражался здесь же, в этих местах,— говорил майор Заводчиков. — Это мои родные места, сколько раз я охотился тут... Тогда, в восемнадцатом году, мы дрались с Юденичем. Это была гражданская война, она шла по всей стране, и не было ничего странного в том, что вот мы сражаемся здесь с белогвардейцами. Могли ли мы думать тогда, что немцы... Нем-

цы! — воскликнул он вдруг с заклокотавшей в его голосе ненавистью, — будут под самым Ленинградом, будут топтать наши родные земли, рушить наши памятники, наши святыни. Видели бы вы, что они сделали с Пушкиным, Павловским, Гатчиной, Петергофом!.. Сволочи, сволочи!..

Эти слова майора Заводчикова, вернее это чувство, владевшее им, я вспомнил много времени спустя, в совершенно иных условиях. Я находился на артиллерийском наблюдательном пункте в городе Колпино вместе с подполковником артиллерии Шубиным. Город Колпино, где находится знаменитый в истории России Ижорский завод, прославился своей величественной обороной, выделяющейся даже среди многих славных дел ленинградцев. Когда немцы подошли к Колпину, рабочие-ижорцы решили лечь костьми, а не сдавать ни завода, ни города. И вот фронт пролег под самым городом, город и завод подвергались систематическим бомбежкам с воздуха и непрекращаемуся ни днем, ни ночью артиллерийскому обстрелу. Ижорцы нескольких поколений, от грудных детей до глубоких стариков и старух, гибли от осколков вражеских бомб и снарядов. Но Колпино попрежнему находится в руках ижорских рабочих, а завод работает, несмотря ни на что.

Колпино сильно разрушено. В то время, когда мы с подполковником Шубиным находились на артиллерийском наблюдательном пункте, враг методически, бесцельно, бессмысленно бил из полевых пушек по деревянным домикам и баракам. В нескольких километрах

перед нами, почти на окраине города, пролегал наш передний край,—там шла оживленная перестрелка. Но мирная жизнь в городе не прекращалась. Женщины на пруду полоскали белье. Две девушки на перекрестке что-то говорили друг другу смеясь. Старуха в черном платке медленно шла по улице, неся на руках полугодовалого внучонка. Внучонок спал.

Я понял, что наши женщины не то что привыкли к варварскому разрушению их жилищ, к гибели близких — к этому привыкнуть нельзя,— но они относятся к врагу с презрением. Да, то, что они испытали, было чувство глубокого, органического презрения к врагу.

С подполковником Шубиным мы рассматривали на карте расположение всего Ленинградского фронта, и по моей просьбе подполковник Шубин, указывая рукой в пространство, помогал мне понять по местности то, что мы видели на карте.

— Ну, Петергоф,— вы знаете, он где. Его, конечно, отсюда не видать. Вот в том направлении будет Стрельна,— в Стрельне немец. Вон Пулково, в Пулкове — немец, а высота наша. Там вон будет Пушкино, видите лесок? В Пушкине — немец. А это вот уже Колпино. В Колпине, как видите, мы...— Вдруг он обернулся ко мне и с сердцем сказал: — Говорю вот — Стрельна, Пулково, Пушкино и точно сам себя бью ножом в сердце. Ведь это же все наши родные места! В этих местах мы росли, учились, любили. А для человека, который не жил здесь, все равно одни названия этих мест звучат, как Россия, как мать, как колыбельная песня... Все загадили, осквернили. Об-

рекли на муки голода наших детишек, жен, матерей! Ну, да ладно,— вдруг махнув рукой, с волнением сказал он, — раз уж зашли к нам, не уйдут от нас живыми.

Это было точно продолжение ночного разговора с майором Заводчиковым. Подполковник Шубин говорил даже почти теми же словами. Видно, это чувство одинаково жило в их душах, как и в душах сотен тысяч и миллионов русских людей.

Командиру батареи, находившемуся здесь же, на наблюдательном пункте, было не до наших разговоров. Он был занят своим делом. И пока говорил подполковник Шубин, в речь его все время врывалась артиллерийская команда, которую командир батареи кричал в трубку резким фальцетом. Наши орудия гремели где-то за нашей спиной, и видно было, как на переднем крае немцев ложились гулкие и черные разрывы наших снарядов.

„Хорош блиндаж, жаль, что седьмой этаж“

Вечером первого мая вместе с другими ленинградскими писателями я выступал по радио. В Ленинграде, как и во всей стране, Первое мая было рабочим днем. Но, несмотря на то, что все учреждения и предприятия работали, ленинградцы ощущали этот день как праздник. Днем на солнечных улицах чувствовалось повышенное оживление. На вечер не назначили никаких собраний и внеочередных работ, чтобы дать возможность по рабочей ленин-

граждан предпочли отметить праздник хотя бы у себя дома.

Надо представить себе всю тяжесть ленинградской зимы в период блокады, чтобы понять, какое значение для ленинградцев имело радио. В самую жестокую пору зимы, — когда ленинградец, отрезанный от всего мира, разобщенный со своими товарищами отсутствием транспорта в обледеневшем городе, сидел у себя в холодной квартире, греясь у железной печурки, — радио связывало его со всей страной, со всем миром и включало его в общую боевую и трудовую жизнь блокированного города.

Он слышал по радио голоса своих политических деятелей, прославленных командиров и героев обороны, голоса известных ему писателей и артистов. По радио он узнавал, когда городу угрожает наибольшая опасность, и подымается на призыв рупоров, радио информировало его обо всем, что делается в стане врагов, и какой отпор врагу дают сыны Ленинграда на фронте.

Но для того, чтобы радио могло выполнить эту свою роль, его должны были обслуживать, поддерживать люди, находящиеся в таких же суровых условиях жизни, как и все остальные ленинградцы. Что же это за люди, нашедшие в себе силы вести, не прекращая ни на минуту, эту работу исключительного интеллектуального напряжения?

С такими мыслями поднимался я по каменным ступеням промерзшего здания Ленинградского Радиокомитета.

На простенке одной из лестничных площа-

док висел свежий первомайский номер местной стенной газеты с любовно и наивно раскрашенным заголовком. Среди прочего материала я увидел портрет девушки с прямым и ясным взглядом крупных глаз и ниже портрета — обведенный черной каймой некролог, посвященный этой девушке. Некролог скупо говорил о том, как эта девушка в тяжких условиях зимы день за днем, не доедая, не досыпая, коченея за письменным столом, вела свою редакторскую работу. Потом, по заданиям Радиокомитета, она выехала на фронт и была убита. Это была одна из тех юных дочерей нашего народа, память о которых будет вечно жива в народном сердце. Рядом с некрологом было помещено наивное, трогательное и теплое стихотворение, посвященное ей, — одно из тех стихотворений, которые в иных случаях действуют с более разительной силой, чем стихи мастера.

Здесь меня перехватил один из редакторов художественно-литературного вещания.

— Ты пришел слишком рано, поднимемся к нам, — сказал он, с необыкновенной энергией подхватывая меня под руку.

В этом молодом человеке решительно не было ничего «дистрофического». Он почти вознес меня на шестой этаж, но это было еще не все: промчавшись какими-то коридорами и закоулками, мы по темной узкой лестничке поднялись еще выше. Фактически это был уже чердак, но чердак, когда-то раньше хозяйственно превращенный в жилое помещение с множеством комнатушек «для одиноких».

— Видишь ли, я тебе все объясню, — столь

же стремительно, как он двигался, говорил редактор литературного вещания. — Когда началась вся эта блокада и вся эта чертовская зима, мы все думали, что это через две-три недели кончится, и жили и спали там, где захватит работа... Я хотел было сказать — и ели там, где захватит работа, — со смехом перебил он себя, — но во-время вспомнил, что мы тогда ничего не ели. Так вот, завалишься где-нибудь в кабинете на диване, укроешься шубой, да и пересчитываешь зубы всю ночь. Потом нам это надоело. Чорт с ней, с блокадой! А может, она продлится еще год? А может быть, два? Надо жить. И тогда мы оборудовали себе этот пустой этаж под жилье... Так и живем здесь коммуной. Вот изволь-ка посмотреть!

Он вытащил меня на балкончик, и с этого балкончика я увидел, что все здания и крыши вокруг Радиокомитета исковерканы снарядами. Их упало здесь несколько десятков, и по тому, с какой методической целесообразностью они ложились, видно было, что враг целился именно в это здание Радиокомитета, но так ни разу и не попал.

— Вот это был единственный недостаток нашего жилья, — уж слишком близко к господу богу, — весело говорил редактор. — Но, поскольку мы сволокли сюда всякую изящную мебель и оборудовали кровати, мы уже отсюда не слезали. Только, бывало, ляжешь ночью вздремнуть, а он и начинает грохать. Наше жилье ходуном ходит. Мы даже поговорку сложили: «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж». Но ничего, живем. Впро-

чем, в наших комнатах уже до чего безобразно, а я тебя сведу к Ольге Берггольц, у нее по крайней мере уютно...

В этом блиндаже на седьмом этаже мне и привелось отпраздновать Первое мая 1942 года. После наших радиопередач собралась в комнатке у поэта Ольги Берггольц группа писателей и работников Радиокомитета на товарищескую вечеринку.

Вокруг меня сидела молодежь — бесстрашная, веселая, деятельная, энтузиастическая ленинградская молодежь, которую не могли сломить ни голод, ни холод, ни бомбардировки, ни артиллерийский обстрел, и вообще никакая сила в мире. Я возьму на себя смелость сказать, что из всех вечеринок в моей жизни эта была одной из самых жизнерадостных и одухотворенных. Она началась с тоста: «За человечество и за отечество!» И уже не спускалась с этих высот.

— Рассказывайте мне, как вы жили и работали, рассказывайте, сколько хотите и в каком угодно порядке, — все просил я своих собеседников.

— Ну что ж, сначала у нас, как полагается, был большой штат, все было очень импозантно, были артисты, оркестры, докладчики, пропагандисты, лифт работал, все было, как у людей, все было великолепно, — рассказывал все тот же редактор литературного вещания. — В сентябре замкнулось кольцо блокады. Ну, и чорт с ним, замкнулось, так разомкнется! Никто из нас не верил, что это может быть длительным. Нас тогда сильно бомбили с воздуха и начала обстреливать артиллерия. Ну, и

чорт с ним! На то война! Еще можно было зайти поужинать в «Асторию», и там, чорт побери, еще играл джаз! Потом все это внезапно кончилось, и пришлось потуже затягивать пояса. Но, в конце концов, все мы были здоровые люди, работы хоть отбавляй. Никто о желудке не думал. Стало меньше хлеба, нет мяса, есть только каша, каши становится все меньше, — ну что же поделаешь, на то война. И вдруг на глазах стали выбывать люди, один работник за другим. Мне сейчас трудно назвать тот день, когда я сам почувствовал впервые, что у меня закружилась голова и что я не могу свободно подняться с этажа на этаж. И я впервые подумал о том, что надо очень расчетливо и экономно расходовать свои силы, чтобы сделать все, что тебе положено.

— Главное было в том, чтобы заставить себя забыть о голоде и работать, — сказала Ольга Берггольц, — работать и поддерживать в твоем товарище этот постоянный огонь работы, который в наших условиях был главной жизненной силой. И все мы, кто мог работать, стали работать на началах полной взаимопомощи и взаимозаменяемости. Все, что мы получали, мы соединяли вместе. Главное было в том, чтобы незаметно поддержать наиболее слабого. Отсюда началась и окрепла наша дружба. Я, как женщина, может быть, выдержала бы дольше других, но у меня умирал от голода муж, все приходилось относить ему, а товарищи мои отдавали мне все, что могли. Посмотри, какую записку написал мне в январе вот этот господин, — указала она на бледного, застенчивого

юношу с умными карими глазами, сидевшего вместе с ней за столом.

Ольга Берггольц подвела меня к письменному столу и, порывшись в ящике, вынула клочок бумажки, на котором было нацарапано карандашом: «Оля! Я достал тебе кусок хлеба и еще достану. Я тебя так люблю».

— Поймите, что это было не объяснение в любви! — с глубоким душевным волнением сказала Ольга Берггольц.

Да, я понимал, что это было не объяснение в любви, а это было проявление той самой высшей человеческой любви, какая только может соединить людей на земле.

Я должен сказать здесь несколько слов о самой Ольге Берггольц.

Она писала до войны. Она писала лирические стихи, стихи и рассказы для детей. Видно было, что она человек с дарованием, но голос у нее был тихий и неоформленный. И вдруг ее голос зазвучал по радио на весь блокированный город, зазвенел окрепший, мужественный, правдивый, полный внутренней силы и неотразимый, как [illegible]. У нее умер муж, ноги ее опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. И в ответ на ее стихи к ней посыпались письма от рядовых ленинградцев — товарищей по горю и борьбе. Ею была создана поэма «Февральский дневник» — одно из самых правдивых и проникновенных произведений о Ленинграде и о ленинградских героях блокады. Сила этой поэмы в том, что она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыкновенном, рядовом ленинградце. В поэме есть выражение:

«слезы вымерзли у ленинградцев». Да, слезы вымерзли у ленинградцев! Я ни разу не видел ленинградца, плачущего о смерти близкого человека и вообще в тяжелые минуты жизни, но я не раз видел слезы на глазах ленинградца, большого и малого работника, сурового бойца и юной девушки, когда кто-нибудь по справедливости оценивал их великий безымянный труд.

— Яша! Расскажи, как ты организовал симфонический оркестр, — обратились все к бледному, застенчивому юноше.

— Чего ж тут рассказывать, — засмущался Яша.

— Нет, ты расскажи.

— Ну, вот, можешь себе представить, — обратился он ко мне, — обледеневший город, немец под городом, ежедневно обстрел, трамвай не ходит, время суровое, — мы думали — музыка неуместна в такие дни. И всё агитировали с утра до вечера. Ну, агитаторов тоже нехватало, выпадали целые часы молчания, когда только один метроном стучал: тук... тук... тук... тук.. Представляешь себе? Этак всю ночь, да еще и днем. Вдруг нам говорят: «Что это вы эдакое уныние разводите? Хоть бы сыграли что-нибудь». Говорят, это сам Жданов сказал. Тут я и стал искать по городу музыкантов. В городе было много прекрасных музыкантов, но все они не могли найти себе применения и изрядно голодали. Можешь себе представить, как оживились эти люди, когда мы стали вытаскивать их из темных квартир. Боже, до чего многие из них отощали! Это было трогательное до слез зрелище, когда они

извлекли свои концертные фраки, свои скрипки, виолончели, флейты и фаготы и здесь, под обледеневшими сводами Радиокомитета, начались репетиции симфоний Бетховена и Чайковского. Мы могли их организовать и платить им деньги, но не могли их кормить, потому что у нас самих ничего не было. Тогда мы пошли в Комитет по делам искусств, у которого была своя столовая. Мы сказали: «У нас есть оркестр, он может выступать не только по радио, но и в зале Филармонии. Давайте так: наш оркестр, а каша — ваша, и он будет выступать за совместной маркой». Так начались в Филармонии знаменитые симфонические концерты под управлением Элиасберга. Кстати, нельзя ли добыть партитуру седьмой симфонии Шостаковича?

Я присутствовал при том самом первом разговоре, когда возникла мысль о возвращении седьмой симфонии Шостаковича на ее родину, в Ленинград. Эта симфония теперь утвердилась на своей родной почве и с успехом исполняется в ленинградской Филармонии.

— А сейчас что вы готовите? — спросил я Яшу.

— А сейчас, назло немцам, мы готовим мировой джаз. Джаз будет — во!

— Да, чорт побери, главное, что мы ни на минуту не сомневались, что мы вылезем, обязательно вылезем из этой проклятой блокады, — сказал редактор хроники. — Я помню, как в самые страшные времена мне чудом удалось раздобыть бутылку водки. Вот мы и собрались вокруг нее. Только что вышел семьдесят седьмой выпуск хроники. Я поднял

тост — за сотый выпуск. Тогда этот тост касался верхом оптимизма и самонадеянности. Но все были настроены так же, и все с энтузиазмом выпили.

— Позвольте, а какой у нас сегодня был выпуск? — спросил кто-то.

— Двести сорок четвертый.

— Так выпьем, чорт возьми, за пятисотый!

И все мы, писатели и работники радио, выпили за пятисотый номер хроники.

Моя сестра

Утром следующего дня я был разбужен Тихоновым по совершенно неожиданному поводу.

— Пришла девушка, называет себя твоей племянницей. У тебя есть здесь племянница?

Я быстро оделся и пошел в комнату к Тихоновым. Меня действительно ждала племянница, дочь моей двоюродной сестры, которую я никак не предполагал встретить в Ленинграде. Ее муж, штурман дальнего плавания, давно уже плавал в дальневосточных водах. Девушка была очень худа и бледна, очень просто одета, и, видно, ей стоило большого самообладания не показать, что она очень смущена.

— Как вы нашли меня?

— Мы услышали твое выступление по радио, и в Союзе писателей я узнала твой адрес.

В одно мгновение я представил себе, как тяжела могла быть жизнь в блокированном Ленинграде одинокой, не старой ещё женщины с дочерью, ученицей школы. У меня еще оставались кое-какие продукты, я быстро собрал

все, что мог, и мы отправились на квартиру к сестре.

Двоюродная сестра моя является последней представительницей семьи Сибирцевых — известных дальневосточных революционеров. Ее старший брат Всеволод был вместе с крупнейшим военным и политическим деятелем Дальнего Востока, вождем дальневосточных партизан, Сергеем Лазо, сожжен японской военщиной в паровозной топке в 1920 году. Другой ее брат, Игорь, погиб в бою с белояпонскими войсками в декабре 1922 года, погиб смертью героя: будучи ранен в бою в обе ноги, преследуемый кавалерией, он застрелился, не желая сдаваться в плен.

Двоюродная сестра моя не была революционеркой, как ее братья, она была обыкновенным, рядовым советским служащим: служила на телеграфе, работала корректором в газете, работала в качестве счетовода, а в последние годы перед войной была домашней хозяйкой — воспитывала дочь и несла обычную, рядовую общественную работу.

Именно потому, что жизнь моей сестры и ее дочери типична для жизни любого рядового служащего и так называемого «иждивенца», то есть не работающего члена семьи, я позволю себе рассказать здесь, как прожили моя сестра и племянница зиму 1941—1942 года в Ленинграде.

Поскольку ни сестра, ни ее дочь нигде не служили, они получали каждая обычный хлебный и продовольственный паек иждивенца, то есть самый минимальный паек в Ленинграде. У них не было никаких связей и знакомств.

благодаря которым они могли бы получить что-нибудь дополнительно. В самые тяжелые времена они получали по 125 граммов хлеба, к которому были примешаны суррогаты. В то время, когда я встретился с ними, они получали по 300 граммов хлеба (в это время служащие получали уже 400 граммов, а рабочие — 500). Для того, чтобы вскипятить чай и сварить свою скудную пищу и немного обогреться, они вынуждены были из этого скудного хлебного пайка экономить некоторое количество для того, чтобы на хлеб выменять немного дров.

Человек, привыкший к обычным нормальным условиям жизни, может не поверить мне, что при этих условиях и сестра моя и ее дочь остались живы. Да, они остались живы, как сотни и сотни тысяч ленинградцев, находившихся в одинаковом с ними положении.

Они остались живы прежде всего и главным образом потому, что это были уже не обычные рядовые люди в обычных нормальных условиях жизни. Сестра моя жила в новом громадном ленинградском доме, население которого равно было населению иного города районного значения. С войной значительная часть этого населения была эвакуирована. В течение зимы некоторая часть вымерла от голода и холода. Но все же это был громадный дом, или «объект», как стали называть во время войны все здания, могущие быть подверженными бомбардировке, артиллерийскому обстрелу или пожару. Сестра моя всю зиму была начальником этого объекта, то есть начальником противовоздушной и противопожарной

обороны всего этого здания. Иными словами, сестра моя была уже одним из сотен тысяч сознательных защитников родного города, человеком исключительной моральной стойкости, самодисциплины, человеком, знающим, что виновником ее тяжелого положения является бешеный враг, стоящий у ворот города, человеком, полным ненависти к этому врагу и неукротимого желания жить, работать и бороться наперекор и назло этому врагу.

Я свидетельствую, что дом, в котором жила моя сестра, когда я попал в него, находился в абсолютном порядке. Конечно, в нем, как и в большинстве ленинградских домов, не было электрического света, не действовала канализация, и воду нужно было брать из кранов во дворе. Но дом и двор содержались в абсолютной чистоте. Сестра с гордостью показала мне газету, в которой был ее портрет, портрет домашней хозяйки, объект которой вышел на первое место в районе. Вокруг дома, по удобству местности, были густо расположены зенитки. Сестра знала в лицо большинство зенитчиков, как и они знали ее, — они были уже товарищами в общем деле обороны города.

И выжили они, моя сестра и дочь ее, еще потому, что при всех мучениях голода они жили по строгому режиму питания. Как бы мал ни был паек, он делился на три части, и надо было приучить себя к тому, чтобы съесть утром, в обед и вечером не больше того, что положено.

Должен сказать, что при всем том я застал свою сестру в очень тяжелом положении. Я

знал ее красивой, физически развитой женщиной, в расцвете зрелых сил. Передо мной была почти старуха, с подпухшими веками, высохшим, почерневшим лицом и опухшими ногами. В ее черных, гладко причесанных волосах сильно пробрызнула седина. Красивые руки ее огрубели, стали тяжелыми, узловатыми руками чернорабочего.

Первое, что она мне сказала, это то, что она по слабости сил вынуждена была сама сложить с себя несколько дней назад звание начальника объекта. Мысль эта была, очевидно, так ей горька, что слезы выступили ей на глаза, но она тотчас же убрала их платком, и лицо ее приняло то каменное выражение, которое я видел на лицах многих и многих ленинградцев.

Сестра моя, как и большинство ленинградцев, была определена через несколько дней в столовую усиленного питания, где она питалась в течение шести недель. К концу этого срока она стала заметно поправляться. Прежде всего ожили ее глаза, в них снова появился молодой блеск. Спала опухлость век, улучшился цвет лица, она начала чуть-чуть прибавлять в весе, и голова ее перестала кружиться. Я понял, что она вышла из беды и вскоре станет такой же, какой была до войны. И только в душе ее останется незабываемый след от этого времени. Иных людей такие лишения ломают, но сотни тысяч ленинградцев, подобных моей сестре, стали от этих лишений несгибаемыми, стальными людьми. И горе врагу, когда эти люди потребуют от него расплаты за все, содеянное им!

Племянница моя, как и большинство молодых людей, особенно девушек, легче перенесла эту блокадную зиму. Когда я увидел ее, она уже поправлялась, хотя была еще бледна и худа.

Когда мы с племянницей вошли в квартиру, сестра моя с подругой, такой же истощенной женщиной, обедали. Учитывая, что к Первому мая продукты были выданы по повышенным нормам, этот обед можно было бы назвать по ленинградским условиям роскошным. В нем участвовали даже пиво и водка, настоенная на старых апельсиновых корках. В числе блюд был знаменитый блокадный ленинградский студень, студень, вываренный из столярного клея. Как известно, столярный клей варится на костях. Это процесс обратимый. Надо выварить клей, пока не останется один костяной навар, вернее бывший костяной навар, потом добавить к нему желатина, а потом остудить.

Студень этот совершенно безвкусен, и питательность его сомнительна, но он служил подспорьем для многих ленинградцев.

Во время нашего обеда в дверь постучались, и вошла подруга моей племянницы, девушка ее возраста, в сопровождении военного моряка. Они стали звать мою племянницу в театр.

— В какой же театр? — спросил я подругу моей племянницы.

— В Музыкальную комедию.

— Где она подвизается?

— В Александринке.

— А что идет сегодня?

— «Сильва».

— Уж не Кедров ли поэт? — спросил я.
— А вы его знаете? — вспыхнув, спросила девушка.
— Конечно.
— Можно вас на минуточку? — совсем уже покраснев, сказала девушка, отзывая меня в соседнюю комнату.
Мы вышли с ней в другую комнату.
— Вы никому не скажете то, о чем я хочу попросить вас? Только не смейтесь.
— Безусловно, не скажу.
— Если вы знаете Кедрова, попросите у него автограф для меня. Вы знаете, если бы у меня был его автограф, что бы там ни случилось с Ленинградом и со всеми нами, потому что мы ни за что, ни за что не расстанемся с Ленинградом, — что бы там ни случилось, мне тогда не страшно и умереть.
Пусть эта девушка не сердится на меня за то, что я обнародовал ее тайну. Пусть она знает, что ее просьба не только украшает ее молодость, но утверждает неистребимые силы жизни в блокированном Ленинграде. Немцам, зарывшимся в землю под Ленинградом, действительно еще предстоит сгнить в этой земле, а Ленинград жил, живет и будет жить во веки веков бессмертной жизнью.
Я ночевал у своей сестры и ранним утром был разбужен невероятным грохотом зениток. Их было так много и стреляли они так близко, что казалось, будто они бьют прямо из-под кровати. Сестра моя стояла у раскрытого окна и смотрела на улицу.
— Мои зенитки! Это мои зенитки! — сказала она, обернувшись ко мне с прекрасной

улыбкой, сразу преобразившей ее изможденное лицо.

То, что она несколько дней тому назад передала руководство над «объектом», было мгновенно забыто ею. Она была в платке, в теплом жакете, с противогазом через плечо. Какая-то сила преобразила ее, звуки стрельбы действовали на нее, как звуки трубы на боевого коня.

— Давай полезем на крышу,— сказала она мне.

Пользуясь тем, что у меня был уже пропуск на хождение во время воздушной тревоги, я пошел домой.

Несмотря на расклеенный по всему городу приказ, грозящий самыми свирепыми карами гражданам, нарушающим правила поведения во время воздушной тревоги, все ленинградские граждане спокойно по всем направлениям шли на работу.

У Троицкого моста через Неву милиционер стал все же усовещевать одну юную гражданку и убеждать ее итти в убежище, грозясь не пустить ее через мост.

— В убежище! Вот еще новости взяли! — с удивлением говорила юная гражданка.

Милиционер попробовал было удержать ее под руку.

— Отчепитесь! — сказала она, ловко хлопнув его по руке.— Вот еще новости взяли! — сказала она с еще большим удивлением и бодро застучала каблучками по мосту.

Милиционер был, несомненно, прав, а юная гражданка не права. И все же не было никаких сил сердиться на эту неисправимую ленин-

граду. Как видно, этих сил не было и у милиционера. В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде.

Дети

Ленинградцы и прежде всего ленинградские женщины могут гордиться тем, что в условиях блокады они сохранили детей. Значительная часть детей была эвакуирована из Ленинграда,— речь идет не о них. Речь идет о тех маленьких ленинградцах, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом.

В Ленинграде создана была широкая сеть детских домов, которым голодный город отдавал лучшее из того, что имел. За три месяца я побывал во многих детских домах в Ленинграде. Но еще чаще, присев на скамейке где-нибудь в городском скверике или в парке в Лесном, я, не замечаемый детьми, часами наблюдал за их играми и разговорами. В апреле, когда я впервые увидел ленинградских детей, они уже вышли из самого трудного периода своей жизни, но печать тяжелой зимы еще лежала на их лицах и сказывалась в их играх. Это сказывалось в том, что многие дети играли в одиночку, и в том, что даже в коллективную игру дети играли молча, с серьезными лицами. Я видел лица детей, полные такой взрослой серьезности, видел детские глаза, исполненные такой муки и грусти, что эти лица и эти глаза могут сказать больше, чем все рассказы об ужасах голода.

В июне таких детей было уже не много,

главным образом, из числа сирот, родители которых погибли совсем недавно. У подавляющего большинства детей вид был вполне здоровый, и по своему поведению, по характеру игр, по смеху и веселости они не отличались от всяких других нормальных детей.

Это результат великого святого труда ленинградских женщин, многие из которых добровольно посвятили свои силы делу спасения и воспитания детей. Рядовая ленинградская женщина проявила здесь столько материнской любви и самоотверженности, что перед величием ее подвига можно преклониться. Ленинградцы знают примеры исключительного мужества и героизма, проявленного женщинами — работниками детских домов во время опасности.

Утром в Красногвардейском районе начался интенсивный артиллерийский обстрел участка, где расположены ясли № 165. Заведующая яслями Голуткина Лидия Дмитриевна вместе с сестрой-воспитательницей Российской и санитаркой Анисифоровой под огнем стали выносить детей в укрытие. Обстрел был так силен и опасность, угрожавшая детям, была настолько велика, что женщины, чтобы успеть снести всех детей в укрытие, сваливали их по нескольку человек в одеяло и так кучами и выносили. Артиллерийским снарядом выбило все рамы и внутренние перегородки тех домиков, в которых были расположены ясли. Но все дети — их было 170 — были спасены.

Сестра-воспитательница Российская лишь после того, как все дети были укрыты, попросила разрешения пройти к своему собственно-

му дому, где находились трое ее детей. Приближаясь к дому, она увидела, что он горит. На помощь детям Российской пришли другие советские люди и вынесли их из огня.

Я не преувеличу, когда скажу, что я видел сотни женщин, молодых и старых, показавших такое знание детской души и такой педагогический талант, какие могут сравниться со знаниями и талантами величайших педагогов мира.

Я предоставляю слово одной из них.

«Двадцать четвертого февраля 1942 года в суровых условиях блокированного Ленинграда начинает свою жизнь наш дошкольный детский дом № 38 Куйбышевского района.

У нас сто детей. Недавно, совсем недавно перед нами стояли печальные сгорбленные дети. Все, как один, жались к печке и, как птенчики, убирали свои головки в плечики и воротники, спустив рукава халатиков ниже кистей рук, с плачем отвоевывая себе место у печки. Дети часами могли сидеть молча. Наш план работы первого дня оказался неудачным. Детей раздражала музыка, она им была не нужна. Детей раздражала и улыбка взрослых. Это ярко выразила Лерочка, семи лет. На вопрос воспитательницы, почему она такая скучная, Лерочка резко ответила: «А почему вы улыбаетесь?» Лерочка стояла у печи, прижавшись к ней животиком, грудью и лицом, крепко зажимая уши ручками. Она не хотела слышать музыки. Музыка нарушала мысли Лерочки. Мы убедились, что многого не додумали: весь наш настрой, музыка, новые игрушки — все только усиливало тяжелые переживания детей.

Резкий общий упадок был выражен не только во внешних проявлениях детей, это было выражено во всей их психофизической деятельности, все их нервировало, все затрудняло. Застегнуть халат не может,— лицо морщит. Нужно передвинуть стул с места на место — и вдруг слезы. Коля, взяв стул в руки, хочет его перенести, но ему мешает Витя, стоящий у стола. Коля двигает стул ему под ноги. Витя начинает плакать. Коля видит его слезы, но они его не трогают, он и сам плачет. Ему трудно было и стул переставить, ему так же трудно и говорить.

Девочка Эмма сидит и горько плачет. Эмме пять лет. Причину ее слез мы не можем выяснить, она просто молчит и на вопросы взрослых бурно реагирует — все толкает от себя и мычит: «м-м-м»... А позже узнаем, что ей трудно зашнуровать ботинок, и она плачет, но не просит помощи. У детей младшей и средней группы все просьбы и требования выражаются в форме слез, капризов, хныкания, как будто дети никогда не умели говорить.

Мы долго боролись с тем, чтобы дети без слез шли мыться. Дети плакали, обманывали, ссорились и прятались от воспитателя, объясняя это тем, что вода холодная. Валя тоже плачет, объясняет это тем, что она чистая. Она сквозь слезы говорит: «Меня мама не каждый день мыла, я совсем чистая». Шамиль из средней группы после сна садился за стол, и только вместе со стулом можно было его перенести к умывальнику. Исключительно бурную реакцию проявили дети, когда была организована первая баня в детдоме. Все малыши.

как один, криком кричали, не желая купаться. Коля кричит: «Мылом не хочу мыться, не буду мыться!» Валя: «Мне холодно, не буду мыться!»

Дети очень долго не хотели снимать с себя рейтузы, валенки, платки и шапки, хотя в помещении было тепло. Дети украдкой ложились в постель в верхнем платье, в чулках, в рейтузах. Трудно было отучить детей от привычки спать под одеялом, закрываясь с головой, в позе спящего котенка. Странная поза, излюбленная у детей, — лицо в подушку и вся тяжесть туловища держится на согнутых коленях, попка кверху. «Так теплее»,— говорят дети.

Больно было видеть детей за столом, как они ели. Суп они ели в два приема, вначале бульон, а потом все содержимое супа. Кашу или кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и прятали их в спичечные коробки. Хлеб дети могли оставлять, как самую лакомую пищу, и есть его после третьего блюда и наслаждались тем, что кусочек хлеба ели часами, рассматривая этот кусочек, словно какую-нибудь диковину. Никакие убеждения, никакие обещания не влияли на детей до тех пор, пока они не окрепли.

Но были случаи, когда дети прятали хлеб и по другой причине. Лерочка обычно и своей нормы не поедает,— оставляет на столе и часто отдает детям. И вдруг она спрятала кусок хлеба. Лерочка сама огорчена своим поступком, она обещает больше этого не делать. Она говорит: «Я хотела вспомнить мамочку, мы тогда очень поздно в постельке кушали хлеб.

Мама нарочно поздно его выкупала, и я хотела сделать, как мамочка. Я люблю свою мамочку, и хочу о ней вспоминать».

Лорик пришел к нам на второй день после смерти мамы. Ребенок физически не слабый, но его страдания, его печаль ярко выражены во всем его поведении. Лорик не отказывается ни от каких занятий, но нужно видеть, как трудно ему сосредоточиться, как ему не хочется думать по заданию, ведь он живет своими мыслями, а задание педагога мешает ему думать о своей маме. Лорик никому не говорит о маленькой пудренице, которую он приспособил для медальона и носит на тесемочке на шее. Семнадцать дней Лорик прятал ее, и вот в бане он не знал, как ее убрать, куда спрятать, он бережно держал эту вещь, смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Я ничего ему не сказала, не спросила ни о чем. Сам Лорик раскрыл мне свою тайну. «У меня моя мама, я берегу ее,— шепотом сказал он мне.— Я сам это сделал, сам тесемочку привязал». Он открыл крышку круглой пудреницы, посмотрел, крепко поцеловал и не успокаивался, пока сам не увидел место, где будет храниться эта пудреница, пока он моется в бане. После этого случая Лорик стал более откровенным. В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. «Я хотел только один... только один...— и больше не нашел слов сказать.— Этот портрет мне сама мама дала перед смертью». И у Лорика на глаза навертываются слезы.

Одиннадцать дней страданий, воспоминаний о маме не давали проявиться богатейшим его качествам: логичной речи, богатому разнообразному творчеству, исключительной способности в рисовании. Лорику стало легче после того, как он открыл свою тайну, он ожил, сам берет материалы, быстро увлекается работой и увлекает товарищей.

Леня, семи лет, отказывается снимать вязаный колпак, даже не колпак, а бесформенную шапку, которая сползает ниже ушей и уродует его. Мы долго не могли узнать причины, почему Лене нравится эта шапка. Причина оказалась та же — Леня хранил ее, как память об умершем брате. Леня говорит: «Я берегу ее, это память мне от брата, и картинки тоже я берегу. Они у меня спрятаны, а когда мне скучно, я их вынимаю и смотрю».

Женя, шести лет, пришел в детский дом и в этот же день показал всем портрет мамы и мелкие фотоснимки ее же, но сказал: «Рассказывать не буду, пускай папа рассказывает». Женя скучает, ночью долго не засыпает, лежит с открытыми глазами молча. Ночью просит няню погасить свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: «Я думаю все о маме. А вот Вова (его младший брат, трех лет) спит, он, наверное, забыл про маму. Разрешите мне к Вовочке на кроватку лечь, тогда я засну, а так я до утра не засну. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю».

Лера — девочка глубоких и устойчивых переживаний. Лишенная полноценной семьи (отец уже до войны имел другую семью и навещал

Лерочку лишь изредка), она была страстно привязана к матери. Тридцатилетняя женщина, нежно любившая дочь, увлекавшаяся рисованием, пляской, рукоделием, сделалась для Леры идеалом всего прекрасного. Горе своей потери девочка переживает чрезвычайно тяжело и упорно. Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немногим напоминает ей мать и былую жизнь дома. Проникается симпатией к тем людям, которые случайно назовут ее так, как называла мать. Может целый день рисовать: она занималась этим с мамой.

С ребятами Лера скрытна, замкнута, ко многим относится с пренебрежением, подмечая их недостатки и давая им прозвища: «Я презираю Леню, он ест так противно, да и вообще мямля какая-то, просто петух бесхвостый». Или: «Этот Боря ходит, как крадется, он по шкафам лазает, а говорит так, что ничего не поймешь... крыса». С избранными взрослыми Лера любит поговорить и рассказать про свои переживания. Она сообразительна и наблюдательна. Ее рассуждения и рассказы всегда последовательны и логичны. Ее рисунки и аппликативные работы оригинальны по замыслу. В своих эмоциях Лера сильна и страстна. Она способна утром поколотить девочку, которая мешала ей спать ночью.

Но Лера честна и в своих поступках всегда сознается, причем их обосновывает — не в оправдание себя, а скорее желая сама выяснить причину. Она сильна и страстна не только в злом, но и в хорошем. Это милая девочка, с большими глумчивыми, полными печали, серыми глазами. Она дичилась в первое время,

пряталась в угол, опустив головку, что-то переживала про себя, но никому ничего не говорила. Но после того, как она поделилась своим горем в первый раз, ей стало легче. На Леру легко влиять лаской, разумной беседой.

Вот перед нами чудный мальчик, его имя Эрик. Дети и взрослые любят его за исключительную нежность, которую он проявляет ко всем. Но Эрик не любит никаких занятий. Он говорит: «Что-то не хочется» или: «Я плохо себя чувствую». Молчаливый, он часто подходит к окну или выходит на балкон. Его взоры сейчас же устремляются на противоположный дом, откуда его привели и где он потерял маму. Однажды во время дневного сна Эрик, закрывшись с головой, тихо плачет. Воспитательница встревожена — не болен ли ребенок, но Эрик объясняет: «Я вспомнил, как у нас мама умерла, мне жалко ее, она ушла за хлебом рано утром и целый день до ночи не возвращалась, а дома было холодно. Мы лежали в кроватке вместе с братом, мы все слушали — не идет ли мама. Как только хлопнет дверь, так и думаем, что это наша мамочка идет. Стало темно, а мама наша все не шла, а когда она вошла, то упала на пол. Я побежал через дом и там достал воды, и дал маме воды, а она не пьет. Я ее на кровать потащил, она очень тяжелая, а потом соседи сказали, что она умерла. Я так испугался, но я не плакал, а сейчас не могу, мне ее очень жаль».

Я привел здесь эти строчки из официального отчета заведующей детского дома № 38 для того, чтобы показать, какой высоты понима-

ния детской психики и любви к детям достигли лучшие женщины Ленинграда, посвятившие себя делу спасения детей-сирот и делу их воспитания. Я должен сказать здесь, что детский дом № 38 примечателен именно тем, что через него прошли в подавляющем большинстве дети, оставшиеся без родителей, и что к тому времени, когда этот отчет попал мне в руки, все эти дети были уже нормальными детьми!

В то же время этот официальный отчет заведующей детским домом № 38 является одним из тех великих и страшных счетов, которые наш народ должен предъявить и предъявит врагу. Пусть позор преступления против жизни, счастья и души наших детей навеки ляжет проклятием на головы убийц. Вся подлая животная жизнь всех этих гитлеров и герингов и сотен тысяч и миллионов немцев, развращенных ими и доведенных ими до последней степени вырождения и зверства, не стоит единой слезинки нашего ребенка. За каждую эту слезинку они должны заплатить и заплатят потоками своей черной крови.

А в памяти человечества навеки сохранится прекрасный и величественный облик ленинградской женщины — матери, как символ великой и бессмертной всечеловеческой любви, которая — придет время! — будет господствовать над всем миром.

Школа

В [illegible] я [illegible] на [illegible] Лиговской улицы, [illegible] в [illegible] сетку с учебниками, полубежала девочка в белом бе-

ретике, сложив тонкие ножки на мостовую, склонив набок головку, как раненая голубка. Она шла вместе с подружками и товарищами с уроков домой и вдруг ослабела. И они все стояли вокруг нее с серьезными лицами, держа в руках сумки и сетки с учебниками и тетрадками, и молча смотрели на нее. Они не могли оставить ее одну и боялись поднять ее и отвести, боялись, что она умрет от лишних физических усилий.

На лице девочки не было выражения ни грусти, ни физического мучения. Лицо ее было бледно, спокойно, сосредоточено в себе. Без всякого внутреннего испуга она пережидала, пока пройдет слабость. Но нет слов, чтобы передать выражения лиц и глаз подруг и товарищей, окружавших ее. Все они прошли через то, что испытывала она теперь, они хорошо знали, что грозит ей, они хорошо знали цену жизни и смерти. И теперь, когда смерть уже не грозила им, на их лицах было выражение такого понимания и такого серьезного и глубокого сочувствия товарищу, что я впервые понял: это не дети, но это и не взрослые,— это просто новые люди, люди, каких еще не знала история. Мера их любви равна мере их ненависти. Если бы видели, какой мрачный огонь горел в глазах некоторых из них!

Я говорил, что ленинградцы могут гордиться тем, что они сохранили детей. Здесь я могу сказать, что дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.

Великий труд охраны и спасения города, об-

служивания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом, ловили шпионов и диверсантов. И они были равными со своими отцами и матерями в том поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю пищи младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим. И трудно сказать, кого больше погибло в этом поединке.

И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, несмотря ни на что, а вместе и рядом с ними навеки сохранится в истории обороны города прекрасный мужественный облик ленинградского учителя. Они стоят одни других — учителя и ученики. И те и другие из мерзлых квартир, сквозь стужу и снежные заносы, шли иногда километров за пять-шесть, а то и десять, в такие же мерзлые, оледеневшие классы и одни учили, а другие учились. Они впервые познали цену друг другу, когда и те и другие умирали друг у друга на глазах на заснеженных улицах города, за партой или у классной доски.

В Ленинграде есть школы, которые не прекращали своей работы в самые тяжелые дни зимы. А большинство школ, не работавших в эти наиболее тяжелые месяцы, возобновили свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени.

Мне пришлось часто соприкасаться с жиз-

нью и работой 15 ремесленного училища в Ленинграде. Ремесленные школы были созданы в СССР за год до войны. Они ставят своей целью подготовку квалифицированных рабочих и мастеров для всех видов промышленности и транспорта. Училище, о котором идет речь, было преобразовано из старой школы фабрично-заводского ученичества и ставило своей целью подготовку рабочих для электропромышленности.

Училище это за время блокады стало известным всему Ленинграду. Оно прославилось тем, что в равных условиях со всеми другими в самые тяжелые дни дало выпуск в несколько сот человек и продолжало работать на оборону города в своих мастерских и сохранило от смерти подавляющее большинство своих учеников.

Этими своими достижениями училище обязано директору его, Василию Ивановичу Анашкину, бывшему ленинградскому мастеровому, а теперь крупнейшему практику-педагогу, к которому десятки и сотни молодых людей навек сохранят любовь и благодарность.

Как достиг Анашкин того, что в замороженном здании училища, при скуднейшем пайке, сотни учащихся не только не умерли, но даже трудились? Вот что отвечает на этот вопрос сам Анашкин — маленький худенький человек, с выпуклыми глазами, то и дело вспыхивающими пламенем,— маленький человек со стремительной речью и нервными тонкими кистями рук, секунды не могущими пробыть без движения.

— Они не умерли потому, что трудились,—

говорит Анашкин.— А трудились они потому, что я внедрил в сознание ребят чувство дисциплины. Я внедрил его не только убеждением, но и самым суровым принуждением, зная, что только в этом спасение. Это чувство дисциплины заставляло их трудиться. В ленинградских ремесленных школах большинство детей — дети ленинградцев. Когда в городе стало плохо с питанием, многие руководители, боясь ответственности за детей, отпустили их из общежитий по домам. Я поступил наоборот: не останавливаясь ни перед чем, я забирал в общежитие всех детей, которые жили у своих родителей. Из скудных пайков я создал столовую с железной дисциплиной питания. В самые страшные дни, когда стояли лютые морозы, не действовали ни водопровод, ни канализация, я добивался того, чтобы в столовой была абсолютная чистота, чтобы на столах стояли бумажные цветы, оправленные белоснежной бумагой, и во время обеда играл баянист. Я добивался того, чтобы ребята вставали точно в назначенный час, обязательно мылись, пили чай и шли в мастерскую. Некоторые были так слабы, что они уже не могли трудиться, но все-таки возились у своих станков, и это поддерживало в них бодрость духа. Когда из-за отсутствия электроэнергии мастерская стала, мы выходили чистить двор или занимались военным строем. Я все время стремился к тому, чтобы с минуты пробуждения и до сна ребята были бы чем-нибудь заняты. Конечно, по обстоятельствам семейной жизни не всех ребят удалось изъять из их семей. Но и эти ребята чувствовали, что училище — это их

жизнь. Катя Иванова жила в районе Смольного. Для того, чтобы попасть к нам на Васильевский остров и вернуться обратно, она должна была ежедневно сделать около пятнадцати километров. Я понял, что ее придется освободить от занятий и прикрепить к столовой в ее районе. Через два дня она пришла и сказала, что она просит снова разрешить ей посещать училище и прикрепиться к его столовой. «Скучно без училища,— сказала она,— никакой жизни нет». И вот, представьте себе, она все перенесла и сейчас живет и работает.

Василий Иванович Анашкин — человек, сам не прошедший никакой школы. Но, идя путем жизненного опыта и самообразования, он поднялся до самых больших вершин педагогической мысли. Будучи директором школы и известным общественным деятелем в своем районе, он в блокированном Ленинграде, в районе, который наиболее часто подвергается артиллерийскому обстрелу, пишет большой научно-художественный труд о своей педагогической работе.

В июне месяце я был приглашен в одну из школ на собрание учащихся и преподавателей десятых классов этой и соседних школ. Весь фасад здания школы был побит осколками снарядов. Стекла наполовину вылетели и были заменены фанерой, парадный вход закрыт. Весь двор школы был разделан под огород, зелень только всходила. Помещение школьной библиотеки было полно учащихся и преподавателей. Молодые люди, семнадцатилетнего возраста, особенно девушки, были уже то, что называется в полной форме, некоторые из юно-

шей еще несли на себе следы лишений. Но это была уже обычная наша молодежь — цельная, жизнерадостная, пытливая. У учителей, особенно у стариков, вид был не то что изможденный, но усталый, они медленно, я бы сказал, экономно двигались, и только глаза с их живым и умным блеском, вдруг точно освещавшим худые темные лица, говорили о том, какая великая сила духа управляла поступками этих людей.

В беседе возник вопрос о так называемом «новом человеке». Нельзя было без волнения слушать, как мои собеседники старшего и младшего поколений говорили о новом человеке, как о мечте будущего, как о чем-то таком, чего еще нужно достичь, не подозревая, что они-то и есть живые новые люди, каждый шаг которых в великой Отечественной войне нашего народа освещен светом самых больших мыслей и дел, какие только знало человечество.

Дорога Жизни

Она растаяла, эта дорога, и когда тяжелые льды Ладожского озера покатились по Неве к морю, на отдельных льдинах еще можно было видеть ее почерневшие следы. Дорога растаяла, ее заменила другая, водная, еще более могучая. Но на веки веков останется в памяти людей беспримерная по мужеству и выносливости и по человеческому благородству работа десятков тысяч людей — в сорокаградусную стужу, под бомбами и снарядами противника,— великая работа по спасению Ленинграда.

Надо знать Ладожское озеро, такое бурное

осенью, замерзающее страшными торосами, знать, как частые северные штормы разражаются над озером зимой, чтобы представить себе всю силу и размах человеческого труда, вложенного в эту ледовую трассу через Ладожское озеро.

Майор Можаев, пионер трассы, мог бы рассказать о том нечеловеческом волнении, какое испытал он, когда глухой ночью проехал с одного берега озера на другой на лошади по только что проложенной, еще не законченной трассе.

Ее освоили не сразу. Стремясь сделать путь наикратчайшим и как можно лучше обеспечить его от авианалетов и артиллерийского обстрела, строители трассы меняли ее направление много раз.

Первое время не были уверены в крепости льда. Груз возили на лошадях. Первые машины брали не больше четырехсот килограммов груза. Впоследствии по трассе проходили тяжелые танки КВ.

Люди, обслуживающие трассу, отбирались и закалялись на трудностях. Они добились того, что ни природные условия, ни деятельность врага не прекращали работы на трассе ни на минуту.

Немецкая авиация сделала попытку уничтожить трассу двумя-тремя массовыми налетами. Но наша авиация зимой была уже значительно сильнее, чем осенью. В нескольких воздушных боях немцы потеряли до пятидесяти самолетов, и попытки массовых налетов прекратились. Тем не менее на протяжении всей деятельности трассы продолжалась борьба нашей авиации и

батальон артиллерии с немецкой авиацией, пытавшейся бомбить трассу и обстреливать машины и части, обслуживавшие ее.

Фашистские самолеты гонялись за машинами, прошивая кузовы и кабины свинцовым дождем и выводя из строя водителей. Вражеские бомбежки портили полотно дороги. И днем и ночью трасса была под артиллерийским обстрелом. Подъездные пути проходили по заболоченным лесным участкам и были так узки, что двум машинам трудно было разъехаться. Разгрузочные площадки были тесны. Ремонтные базы в первое время были не налажены. Все это создавало дополнительные трудности в работе водителей и грузчиков. Но за ними неотступно, как совесть, стоял Ленинград.

И вот загремели по всей трассе имена ее героев, память о которых навсегда останется в сердцах людей.

Стало известно, что водитель машины ГАЗ-АА Александр Данилович Тихолович, работая без сменщика, делает в любых условиях два рейса в смену и не имеет ни одной аварии. Значит, это могут делать и другие! И по всей трассе развернулось соревнование водителей за два рейса в смену. Два рейса стали обычным, рядовым делом. Делать меньше двух рейсов было уже совестно. Не то что плохая работа, но обыкновенная работа уже вызывала волну общественного осуждения.

Десятки людей перестали считаться с временем. Доселе никому неизвестный водитель Е. В. Васильев, работая бессменно сорок восемь часов, сделал на машине ГАЗ-АА 1020 километров — восемь рейсов! — и перевез вос-

лечивать тонн груза. После обычного отдыха он снова пустился в путь, сделал в смену три рейса, и эта норма — три рейса в смену — стала его обычной нормой. Так развернулась борьба за три рейса в смену. Про водителей говорили — это двухрейсовик, это трехрейсовик. Это были почетные звания. Трехрейсовик — это звучало как лауреат. Говорили: «Вот это Годионов, трехрейсовик, ни одной аварии, ему сорок девять лет». Или: «Смотри, брат, это Корнетов. В тысяча девятьсот восемнадцатом году он дрался с немцами под Нарвой и Псковом. А в этой войне у него погиб сын — балтиец. Ему пятьдесят лет, а он делает регулярно три рейса за смену».

Но число трехрейсовиков все множилось и множилось. На первые места стала выходить молодежь. Сержант Ильющенко, делавший три рейса в смену, попробовал сделать четыре. На это потребовалось тридцать шесть часов. Как рекорд — это можно было повторить два-три раза, но так нельзя было работать нормально. Но после рекордов Васильева и Ильющенко борьба за четыре рейса в смену все разгоралась. Стали известны имена молодых водителей-трехрейсовиков: Садухвадзе, Шичкова, Круглова, которым все чаще удавалось сделать четыре рейса нормально в одну смену.

И вот загремели имена водителей Кондрина, Гонтарева, делавших регулярно четыре рейса в смену. Так появилось на трассе звание «четырехрейсовик». Теперь оно звучало, как лауреат. Но за Кондриным, Гонтаревым появлялись все новые и новые имена, и оказалось, что четыре рейса тоже не предел, после того как Гонта-

рев, совсем еще молодой водитель, сделав пять рейсов в восемнадцать часов. Так работали люди на трассе.

От водителей не отставали грузчики. Здесь тоже борьба шла за время: нагрузить машину не в шесть минут, как полагалось по норме, а в пять минут, в четыре, в три, в две. Выполнить план погрузки и разгрузки на 115, 120, 180% — это было уже естественным и обычным делом на трассе. Двадцать девятого января всей трассе стала известна бригада Быковского, выполнившая 250% плана, но вскоре и эта норма — 200 — 250% стала очень распространенной. Дело было не в том, чтобы поставить рекорд, а в том, чтобы регулярно вдвое, втрое перевыполнять план погрузки, не отставая от водителей. Пятерка грузчиков, во главе с молодым бригадиром Басария, ежедневно повышая план погрузки, достигла 3 и 4 февраля 250% выполнения, а 5 февраля 320% и работала, уже не снижая этой нормы.

Не трудно видеть, что работа водителей и грузчиков стимулировала одна другую. Если отставали грузчики, водители-двухрейсовики и трехрейсовики не могли выполнить своей нормы и ругали грузчиков на чем свет стоит, и наоборот: грузчики, достигшие тройной и четверной нормы погрузки и разгрузки, самыми страшными словами обзывали отстававших водителей. Так, подобно героям четырехрейсовикам, появились на трассе герои погрузки, выполнявшие норму с превышением ее в четыре раза: Сбарский — 425%, Нижегин — 426% и другие.

Я не имею возможности подробно осв-

ливался на работе других профессий на трассе. Ни пурга, ни страшные морозы, ни темные ночи не могли остановить их героического труда. И днем и ночью грейдеры разгребали снег, и днем и ночью работали метельщики. Ни в метель, ни в стужу регулировщики не покидали своих постов, и фонари «летучие мыши» освещали дорогу в ночи.

Трудовая доблесть на трассе была одновременно воинской доблестью. Молодой водитель Кочелевский, родом из Белоруссии, где немецкие оккупанты зверски замучили его отца, мать и сестру, преследуемый «Мессершмиттом», раненный, довел машину до места назначения.

Однажды фашистский истребитель, вырвавшись из-за туч, налетел на машину, которую вел Иван Дмитриевич Иоакимов, и обстрелял ее из пулемета и пушки. Пули пробили баллоны, смотровые стекла, осколками снарядов были повреждены стенки и дверь кабины. Но Иоакимов не покинул машины и не вернулся на базу. В этот день в его путевом листе, как всегда, значилось: «Два с половиной рейса за смену».

В другой раз Иоакимов вел головную машину эшелона. Рядом с ним в кабинке сидел начальник эшелона — Варламов. Воздушный хищник погнался за машиной, осыпая ее градом трассирующих пуль. Иоакимов резко затормозил. Вражеский истребитель пронесся вперед, но в это время второй истребитель, сделав заход, взял курс на машину. Иоакимов быстро перевел машину на полную скорость, но было уже поздно,— стальная струя прони-

ла стенки кабины. Враг попал в цель. На плечо водителя тихо склонилась голова начальника эшелона.

— Товарищ командир, вы живы? — спросил Иоакимов.

Варламов не отвечал. Он был тяжело ранен. По боковому стеклу побежала струйка крови. Иоакимов взял руку раненого,— пульса не было слышно. Быстро развернув машину, Иоакимов отвез начальника в санитарную часть, а сам тотчас же вернулся на трассу и завершил свой второй рейс.

Вражеские самолеты атаковали колонну машин. Могучий ладожский лед не выдерживал ударов фугасных бомб, — на пути образовались воронки. Попав в одну из воронок, груженая машина, которую вел комсомолец Борис Богданов, начала медленно оседать. Вот-вот кромка льда могла обломиться, и машина уйдет под воду. Борис Богданов, выскочив из кабины, бросился спасать груз. Вымокнув в ледяной воде, он успел выбросить на лед весь груз и даже снять с тонущей машины целые части.

Водитель Кондрин, четырехрейсовик, несколько раз спасал свой груз и машину. Однажды неприятельский снаряд зажег сарай, где стояла машина Кондрина. Кондрин вбежал в горящий сарай и, вскочив в машину с баками, полными бензина, вывел ее из сарая. А в другом случае машина его проваливалась в воду, и он при двадцатиградусном морозе вытаскивал из воды груз на лед, пока не спас весь груз. Он был подобран товарищем [illegible] обледеневший и без сознания, но, от [illegible]

и отогревшись, продолжал ежедневно выполнять четыре рейса.

Над озером пылал зимний закат, когда водитель Еримак заканчивал свой третий рейс. Он очень устал и, выехав на озеро, опустил стекло кабины, чтобы ветер освежил его. Мелькали мимо знакомые лица регулировщиков, неслись навстречу знакомые места, знакомые льды. И вдруг впереди машины взметнулся клуб черного дыма. Водителя оглушило взрывом, и лицо его залилось кровью. Он понял, что попал под артиллерийский обстрел, но не растерялся и продолжал вести машину вперед. Над машиной, свистя, пролетали снаряды. Еще один с грохотом разорвался рядом. Осколок пробил кабину и тяжело ранил водителя. Это была уже вторая рана. Но и теперь не сдался Еримак. Преодолевая страшную боль, с трудом удерживая штурвал, он продолжал мчаться вперед и вперед. В нем было силы ровно настолько, чтобы вывести машину из зоны обстрела. Если бы эта зона была еще протяженнее, он все равно вывел бы машину. Но когда разрывы остались далеко позади, силы оставили его. У него еще хватило силы воли остановить машину, и тут он потерял сознание. Товарищи подобрали его и отвезли в госпиталь.

Вот на столе в палатке начальника участка раздается телефонный звонок. Спокойный женский голос говорит:

— Докладывает Писаренко. Немец опять начал. Все в порядке.

Это со своего ледового поста военная фельдшерица Писаренко сигнализирует о том, что начался артиллерийский обстрел. Палатка,

в которой она живет и работает, установлена на льду на том самом километре, который изо дня в день обстреливается дальнобойными орудиями фашистов. Четыре месяца живет на льду эта отважная женщина. В штормовые ночи, когда неистовый ветер рвет парусину, грозя унести легкое сооруженьице, в буран и вьюги, когда снежные вихри заметают пути, в оттепели, когда талая вода заливает пол и подбирается к койке,— она ни на минуту не оставляет своего поста.

Однажды на тот участок дороги, где работает Писаренко, налетело шестнадцать фашистских бомбардировщиков. Под разрывами тяжелых фугасных бомб трещал и дыбился лед. Писаренко оказалась между тремя большими воронками, ее завалило осколками льда. Бойцы бросили ей канат, она обвязала себя вокруг пояса, и ее вытащили. Даже не обсушившись, не сменив обледеневших валенок, она бросилась перевязывать раненых и не ушла до тех пор, пока не перевязала всех.

Над озером разразился снежный шторм. В слепящей пурге люди сбивались с пути, обмораживались, попадали в трещины. Трое суток, не смыкая глаз, Писаренко бродила по своему участку, разыскивая тех, кто нуждался в помощи, перевязывала раненых, обогревала замерзших.

Темной зимней ночью идут по трассе машины. Ледяной ветер захватывает дыхание, обжигает лицо. Скорей бы добраться до берега! А в стороне от дороги, в ледяной пустыне, чуть заметно теплится огонек в крохотном оконце занесенной снегом палатки. И каждый

водитель знает: там живет фельдшерица Писаренко. Она никогда не спит.

На трассе господствовал неписаный закон взаимопомощи и выручки. Дорога жизни — это дорога героев, заключивших между собой великий союз братства, братства тысяч и тысяч людей — водителей, летчиков, грузчиков, регулировщиков, метельщиков, работников ЭПРОН, работников медицины — великий союз братства по спасению Ленинграда. Сами они не знали, что то, что они делают, это уже история. Но их дела и подвиги запечатлены на полосах печатной газеты, выходившей на льду. Она называлась «Фронтовой дорожник». Ее адрес: Полевая почтовая станция 347. На трассе работал художник Захарьин. Он, правда, работал не как художник, а как младший лейтенант, он сражался, защищая трассу. Но то, что он увидел и в чем сам участвовал, заставило его вспомнить, что он художник. Так была им создана на трассе, на льду, среди разметенного снега, «Аллея героев», галлерея портретов передовых людей трассы, и все работники трассы, сами герои, приходили ее смотреть.

Жизнь этих людей, полная опасности и лишений, была пронизана светом невиданных в мире человеческих отношений. Нет ничего более прекрасного на свете, чем отношения смелых и связанных интересами общего дела людей во время опасности. Сколько необыкновенных по мужеству и самоотверженности поступков и дел знала эта дорога! Какие проявления великодушия, сколько брошенных на лету дружеских слов, мимолетных рукопожатий где-нибудь на льду под вой пурги, сколь-

о задушевных бесед в каком-нибудь уголке отдыха, где можно добыть горячую воду, шахматы и книги, или просто у камелька в палатке!

Но самым душевным другом людей была в часы досуга русская гармонь, когда великий мастер и душа этого дела водитель Бахмин, плечист и запевала, в тесной палатке, окруженный кольцом бойцов, разводил ее говорящие бархатные мехи. Враг, потерявший человеческий облик, озверевший и обезумевший, стремился задушить многомиллионный город страшной петлей голода. А эти люди, несшие городу жизнь и жизнь всему человечеству, с усталыми, мужественными глазами и обветренными лицами, пели задушевные русские песни о счастьи и о любви.

Они стояли вокруг гармониста в заиндевевших шапках, и хотелось, чтобы ни на минуту не прекращались звуки родной гармони.

— Играй, товарищ Бахмин,— говорили они с растроганными лицами,— играй, играй, товарищ Бахмин!..

Дорога Жизни! Люди твои на веки веков прославили себя своей самоотверженностью и благородством перед лицом всемирного человечества.

Носящий имя Кирова

Вот что рассказывал нам товарищ Мужейник, старый рабочий знаменитого в истории России Путиловского завода, теперь более известного в стране под именем Кировского.

— Говорят, крестьянин сильно привязан к земле и к своему родному месту. Это, конечно, верно. Но я так скажу: никто так не пристрастен к своему заводу и своему производству, как наш брат, русский рабочий. Я на заводе с тысяча девятьсот четырнадцатого года, с малых лет. Тут и отец мой работал и другие Мужейники, и я с завода не уйду до самой смерти, если меня, конечно, советская власть не прогонит. Когда немец стал подбираться к нашему Ленинграду, сколько мы, кировцы, дали народу в ополчение? Дивизию! Не мало народу полегло, а и сейчас в армии есть части, где большинство —мы, кировцы...

То, что рассказывал Мужейник, было только одной из глав великой истории ленинградского народного ополчения. Да, именно оно, великое ленинградское ополчение в самую решающую минуту прикрыло город телами своих воинов. Вооруженная первоклассной техникой, в течение десятилетий готовившаяся к войне, прошедшая двухлетний опыт войны в Западной Европе и на Балканах, германо-фашистская армия была остановлена ополчением ленинградских рабочих, служащих и интеллигентов. И не только остановлена,— она понесла неслыханные потери в людях и технике, вынуждена была зарыться в землю и, несмотря на это, на ряде участков фронта потеснена. Это исторический факт, которого нельзя скрыть, перед которым с благоговением снимут шапки будущие поколения людей.

— Выслали мы свой народ в ополчение, а сами думаем: «А ежели враг прорвется в город

...угрожает наш завод, как быть?» И решили. Завода не отдавать. Будем вести круговую оборону. И мы всю нашу местность так укрепили, чтобы, в случае чего, обороняться самим. И, помимо ополчения, создали еще свои дружины. Там уж пусть кто как хочет, а мы, кировцы, со своего завода не уйдем... Иногда задумаешься: а сколько нас всего, кировцев? Нас куда больше, чем числится на заводе. Здесь, за Нарвской заставой, целые поколения кировцев-путиловцев, все мы от завода живем, все мы одной семьи. И нам числа нет. Возьмите сами: дали столько народу в ополчение, а завод все работает. Эвакуировали все оборудование и всю основную рабочую массу в глубокий тыл, а завод все работает.

— А не хотелось, наверно, уезжать рабочим из родного города в тыл? — спросил я.— К тому же, как известно, несколько тысяч рабочих эвакуировано самолетами, ведь они могли взять с собой очень мало пожитков?

— Разное бывало,— с улыбкой ответил Мужейник.— Но все-таки я так скажу: народ легко поднялся. Вы спросите — почему? А потому, что кировские рабочие знают, что никогда ни Ленинград, ни завод не будут под немцами и что кого-кого, а уж кировцев обязательно возвернут на родные места. Мы и сейчас эвакуируем, кого можем,— детей, стариков, больных. Когда они упираются, говорим: «Не бойтесь, возвернетесь, когда можно будет. Завод стоял, стоит и будет стоять»,— с глубокой, внушающей уважение убежденностью сказал Мужейник.— А потом мы говорим: «Вы едете

и своем, там тоже жертвы. И мы и они одного. И мы гордимся здесь, что они, наши ребята, работают там не только на полную мощь, а вдвое, втрое мощнее, чем работали здесь. Гордимся ими и завидуем им. Вот видите цех? Гигант! А стоит пустой,— с грустью сказал он.— Это — знаете — что за цех? Это турбинный цех. В четырнадцатом году я начинал в нем работать... Вот ведь какой цех,— сколько они его не долбают, а он все стоит!— с гордостью сказал Мужейник и вздохнул.

Все это он рассказывал нам, группе литераторов, из которых большинство было литераторов-армейцев, когда мы осматривали завод. Это был завод-город, раскинувшийся на необъятной территории. Величественное и трагическое зрелище являл собой этот ветеран русского рабочего класса. В течение блокады он беспрерывно подвергался налетам вражеской авиации, тысячи снарядов упали на его территорию. Он стоял весь в ранах и рубцах. Но он стоял, он сражался! Он стоял как бы во втором эшелоне фронта, но во втором эшелоне не такой важности, что весь огонь неприятеля был направлен на него.

Весь в укреплениях, он был чист и прибран. По всей огромнейшей территории тянулись цехи, часть из которых пустовала, а часть работала. Всюду, куда хватал глаз, видны были следы разрушения: проломленные стены и крыши, вылетевшие стекла, воронки в земле, стены, выщербленные осколками снарядов. Но дым труда стлался над заводом. Конечно, по

сравнению с прежним временем жизнь этого не была и не могла быть полнокровной, но он продолжал работать, как крупнейший оборонный завод с многотысячной массой рабочих. И звуки жужжащих станков, рев печей, грохот прокатных станов и повизгивание маленького паровозика, маневрирующего по заводским путям, ласкали наш слух нежнее, чем самая прекрасная музыка.

Чугунно-литейный цех, один из наиболее мощных цехов завода, несет на себе следы многих и многих попаданий тяжелых снарядов — то более давние, то совсем свежие. Но это мощнейший цех, работа которого не прекращается ни днем, ни ночью.

Был случай, когда цех загорелся. Константин Скобников, директор цеха, сорокатрехлетний мужчина, не прекращая работы цеха, с группой рабочих кинулся тушить пожар. С ловкостью юноши он забрался на крышу, за ним другие. Они работали, не чувствуя себя, не зная, сколько времени длится эта работа. Когда цех был спасен, Скобников увидел, что руки его изранены и окровавлены, и почувствовал, что лицо его обожжено.

— Да ведь я же, чорт возьми, этот цех строил! — сказал он нам с умной улыбкой на энергичном загорелом лице.— Это, можно сказать, родной мой цех. Да, я строил его двенадцать лет назад и с той поры все время работаю здесь. Тут, можно сказать, прошли мои лучшие, зрелые годы.

— А помнишь, Константин Михайлович, как мы его чистили с весны? — сказал [illegible]

преседенький старичок-мастер, сопровождавший нас во время осмотра цеха.

— И мусору же было,— засмеялся Скобников,— и в цехе, и вокруг. И все обледенело — жуть! Сознаюсь, как начали мы это дело, у самого в душе сомнение было: да уж очистим ли мы его? Целые горы мусора вывезли!

— Значит, был период, когда цех стоял? — спросил я.

— Был. Было такое время, когда я жил в цехе один.

— Как в цехе?

— Да я тут при цехе и живу. Семья у меня эвакуирована. Зимой была у меня печка-буржуйка, я возле нее и грелся. В цехе тишина такая, только ветер подвывает. Окна выбиты, кругом снегу намело, все в инее,— казалось, никогда он не оживет, мой цех.

— Что же вы поделывали в эти долгие дни и ночи?

— Да дни были заняты, мало ли у нас работы в Ленинграде! А вечером сидишь один, думаешь или читаешь.

— О чем думали, что читали?

— Подумать было о чем,— серьезно сказал Скобников.— В эти тяжелые дни люди так раскрывались! Никогда еще, наверно, не видели люди таких проявлений величия духа и таких проявлений морального падения... Я помню — в декабре цех работал, несмотря на страшный холод, на голодовку. Был у нас замечательный старик, земледел, тот, что делает формовочные земли,— великий мастер своего дела, из тех старых мастеров, которые рабо-

ют как артисты и сами не знают, как у них получается. Так и он. Такую умел делать землю! А когда спросят его, по каким пропорциям делает он смесь, он говорит: «Постоянной пропорции нет, я,— говорит,— руками ее, нащупь, чувствую, что и сколько надо прибавить». Про таких думают, что он «секрет знает», а весь секрет у него в руках. Нам по необходимости пришлось заменить привозные пески своими, с пригородных ленинградских карьеров. Все говорят: «Не годятся». И правда, ни у кого не выходит. Он попробовал — вышло... И вот стал он у нас слабеть. С каждым днем, видим, меняется, а работу не бросает, только все учит свою старуху, как землю делать. Все ей что-то рассказывает, а то покажет, а то заставит самоё сделать. Рассердится вдруг: «Экая, мол, ты непонятливая», а потом опять учит, учит. И вот один день прибегает ко мне паренек, говорит: «Зовет...» Я уже понял, кто зовет. Прихожу, лежит он на той самой земле, которую так хорошо умел делать, рядом старуха его стоит, не плачет. Еще тут стоят рабочие-старики. Он уже совсем слабый стал. «Вот,— говорит,— Константин Михайлович, умираю... А вместо меня — будет старуха моя...» И уже перестал смотреть на нее и все старуху наставляет, чтобы она того и того не забыла, как, дескать, замешивать и что... Она все перенимает, повторяет за ним: «Не забуду,— говорит,— не бойся». Не плачет. Можно было со стороны заплакать, да уж правду говорит, что слезы вымерзли у ленинградцев. Так вот он ее наставлял, фразы не

договорил и умер... Вот какие вещи приходилось видеть. А другой опускался до того, что мог у товарища кусок хлеба украсть...— Он помолчал.— А что я читал? Читал я Бальзака, Стендаля и очень многое узнал у них о людях.

Константин Скобников, сын паровозного машиниста, в 1917 году окончил реальное училище и в 1925 году технологический институт. Это образованный инженер большого практического опыта. Он рассказал нам, какую величайшую изобретательность должен проявлять инженер в ленинградских условиях, когда нехватает многих и многих материалов, без которых по прежним представлениям производство казалось немыслимым: как переделать топки в паросиловом цехе, чтобы можно было топить и углем и дровами, в зависимости от того, какое топливо налицо; как получить чугун без кокса; что употреблять в качестве крепителя, если нет растительных масел? Это самые элементарные из тех больших и мелких вопросов, которые были решены живой мыслью ленинградских инженеров и хозяйственников.

Мне довелось наблюдать за работой многих хозяйственников Ленинграда. Это люди незаурядные. Если война учит хозяйственников всей нашей страны строжайшему расчету и экономии, то с точки зрения хозяйственника-ленинградца многое, достигнутое в этом направлении в других пунктах страны, кажется верхом расточительности. Ленинградцы — это самые экономные, расчетливые и изобретательные хозяева, каких только знает наша страна.

Тысячи снарядов легли на территорию Ки-

ровского завода, а Кировский завод продолжает выпускать самые разнообразные виды современного вооружения — от мин и снарядов до танков.

Главная сила на производстве — женщина. Нет той профессии от самой физически тяжелой до самой сложной, какой не овладела бы ленинградская женщина.

В цехе Константина Скобникова мы видели работу знаменитого на весь завод бригадира формовки, девушки Румянцевой. Она совсем не была знакома с производством, когда поступила на завод, она освоила свою профессию буквально в три недели. Беседуя с нами, она ни на минуту не прекращала работы, ее ловкие маленькие руки работали точно и скоро, и во всех ее движениях была такая легкость, точно она танцовала возле своих форм.

— За нами дело не станет, товарищи военные, — весело играя глазами, сказала она в ответ на нашу похвалу ее работе, — за нами дело не станет, дело за вами — скорее гоните немцев от Ленинграда.

Как я уже сказал, многие из нас были в военной форме. Глядя на нас, Румянцева лукаво улыбнулась.

— Мы вас очень даже любим, — сказала она, — да уж больно близко вы от нас стоите. Чем дальше вы от нас уйдете, тем больше будем вас любить...

Работавшие женщины засмеялись, а мы, признаться, смутились.

В одном из отделений [illegible] цеха, под его [illegible] сводами, [illegible]

крана, стоя у грохочущих колес, обтачивали шины; они, еще горячие, грудами лежали за ними. Я остановился возле одной из женщин. Она стояла в профиль ко мне. Темный платок был надвинут ей на лицо,— я не мог определить ее возраста. Руками, одетыми в брезентовые рукавицы, она брала из кучи шину [illegible] и потом, наклонившись всем телом, прижимала ее к стремительно вращающемуся колесу. Сноп искр обдавал ее. Это была первоначальная грубая обточка шин перед тем, как сдать их в механическую обработку. Не обращая на меня внимания, она брала шину за шиной и снова наваливалась всем телом на колесо. Видно, удержать эту шину на вращающемся колесе стоило такого напряжения, что все тело женщины сотрясалось.

Это был тяжелый мужской труд. Мне все хотелось увидеть лицо женщины, но я стоял до тех пор, пока она не обернулась ко мне. Ей было на вид лет сорок, лицо у нее было необычайной красоты — тонкие черты и строгое — лицо подвижницы.

— Это очень тяжело? — спросил я.

— Да, поначалу было очень тяжело, — сказала она, взяв шину и прижав ее к вращающемуся и брызжущему искрами колесу.

— Где ваш муж? — спросил я в тот короткий промежуток, пока она клала обточенную шину и брала другую.

— Умер зимой.

Я не стал спрашивать, от чего он умер, это было понятно само собой.

— Дети есть?

Ольга М[illegible]вейская, поправившись от раны, вернулась в свою любимую роту, роту автоматчиков. Членские взносы были аккуратно вписаны в этот пронзенный пулей и окропленный кровью комсомольский билет. «Теперь у меня есть уже и другой»,— с застенчивой и ясной улыбкой сказала она, показывая мне новенький партийный билет.

Кировский завод был и остался гордостью Ленинграда. Как и в былые дни, он издает собственную печатную газету. Ее редактирует Алексей Соловьев, рабочий завода и любимый поэт завода. Газета называется «За трудовую доблесть». Но в Ленинграде больше, чем в каком бы то ни было другом месте страны, трудовая доблесть — воинская доблесть.

Кировские рабочие живут и работают на фронте. Они живут в своих квартирах, как в блиндажах, причем блиндажах малонадежных, и идут на работу, как на боевую позицию. За час до нашего прихода на заводе разрывом артиллерийского снаряда убило шесть электросварщиков. Как и на фронте, кировские рабочие привыкли к опасности, они работают, шутят, справляют свои бытовые дела. Но на их лицах, как и на лицах бойцов на фронте, есть неуловимая складка, которая образуется от непрерывного ощущения постоянной опасности. Это — мужественная складка, она и суровая и озорная одновременно, более строгая у людей постарше и более озорная у тех, кто помоложе.

В цехе сборки танковых моторов, которым руководит прекрасный, предельной изобретательности инженер Старостенко, мы познако-

мились с молодым бригадиром Евстигнеевым. Вот что нам рассказали о нем.

Евстигнеев более трех суток не уходил из цеха, работая над заказом для фронта. Время было голодное, силы начали покидать его. Товарищи в один голос заявили:

— Ты бы, Евстигнеев, отдохнул маленько.

Он рассердился не на шутку и наотрез отказался покинуть свое рабочее место.

— Пока я у вас бригадиром, командую я, а не вы, ваше дело исполнять да работать...

Но нехитрый слесарный инструмент не слушался его рук. Пришлось все-таки покинуть работу.

«Как это могло случиться? — рассуждал он, лежа дома на койке.— Я — такой молодой парень и вдруг заболел...»

Вечером к нему пришли товарищи.

— На-ка, посмотри вот, про тебя пишут, — сказал самый молодой из пришедших слесарей и протянул Евстигнееву газету.

Евстигнеев отмахнулся, но, когда за ребятами захлопнулась дверь, он прочел, что было написано о нем в газете. А в газете было написано, что бригада Евстигнеева лучшая на заводе. Тогда он оделся и, покачиваясь от слабости, отправился на завод. Его почти насильно стали выгонять из цеха.

— Не допущу я его с больничным листом до работы,— решительно заявил начальник цеха.

— А я, товарищ Старостенко, работать не буду, я посмотрю маленько,— робко возразил Евстигнеев.

Так он приходил и «смотрел» целую неделю. А 26-го числа этого месяца, на четыре дня раньше срока, его бригада выполнила месячную программу.

Если бы меня спросили — какое наиболее ярко выраженное чувство владеет кировскими рабочими, я не колеблясь ответил бы: чувство мести. Здесь очень много людей, потерявших близких на фронте, и еще больше людей, потерявших близких и дорогих сердцу от трудностей и лишений блокады. Кировские рабочие хорошо знают виновника этих лишений, с заводских вышек они могут видеть его простым глазом, и они относятся к нему с ненавистью, глубоко устоявшейся, личной, смертельной ненавистью. Иногда это кажется преувеличением, будто можно мстить в труде. А между тем сотни и тысячи кировских рабочих, в труднейших условиях перевыполняющих свою норму в два, в три, в четыре, в пять раз, не только понимают разумом, а почти физически ощущают, что все, что они делают, тут же, прямо с завода, идет на истребление бешеного врага.

Рабочие Кировского завода пригласили нас устроить на заводе литературный вечер. В вечере приняли участие ленинградские поэты Николай Тихонов, Александр Прокофьев и я.

В подвале одного из зданий, под бетонированным полом, оборудован зал для заседаний и вечеров, со сценой и кулисами. Зал, рассчитанный на 700 человек, не мог вместить всех желающих. Слушатели заполнили все проходы, пришлось запереть наружную дверь, но в течение всего вечера в нее ломились снаружи,

хотя как раз в это время начался артиллерийский обстрел завода.

Николай Тихонов читал свою поэму «Киров с нами». Сюжет этой поэмы в том, что Киров, вождь и любимец ленинградских рабочих, убитый подлой рукой врага народа 1 декабря 1934 года, обходит морозной, черной, [illegible]ной ночью блокированный Ленинград.

Сила этой поэмы, прекрасной самой по себе, удваивалась оттого, что она была написана Николаем Тихоновым этой жестокой зимой в промерзшей квартире при свете коптилки, и тем, что читал он ее сам кировским рабочим в подвале одного из зданий Кировского завода в то время, когда шел сильный артиллерийский обстрел завода. Все слушали поэму, точно окаменев. В лицах слушателей было что-то суровое и трогательное.

В поэме есть глава, в которой Киров проходит мимо завода своего имени:

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет,
Час поздний, глухой и морозный...
Суровый, как крепость, завод.

Здесь нет перерыва в работе,
Здесь отдых забыт [illegible],
Здесь люди в [illegible] заботе,
Лишь [illegible]
Пусть [illegible]
Не [illegible]
Рабочий [illegible]
Гнев и усталость [illegible]
Мгновенно [illegible]

Людей, но выходит старик.
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык.
— Пусть наши супы — водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас сосилить —
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем.
Недаром завод наш суровый
Мы Кировским гордо зовем...

Когда Тихонов читал эти строки, по мужественным лицам кировских рабочих, мужчин и женщин, покатились слезы. Тихонов сам был взволнован. По окончании чтения автору устроили овацию, его вызывали несчетное число раз.

Сопровождаемые группами молодежи, мы шли через всю территорию завода к главному входу, где ждала нас машина. Это было в середине мая, в преддверии белых ночей. Было часов девять вечера, но солнце еще только заходило. Гигантские корпуса цехов, побитые и израненные, казались еще более величественными в вечернем красном свете. Осколки артиллерийских снарядов то и дело попадались под ноги,— завод был усыпан ими. Молодежь, сопровождавшая нас, расспрашивала о судьбе и работе писателей и поэтов, своих любимцев. Молодежь шутила и смеялась. Из цехов доно-

слился разнообразный и торжественный в этот вечерний час шум работы.

У самого входа в завод стоит громадный памятник Кирову. Киров изображен здесь таким, каким народы СССР не раз видели его на трибуне. В кожаной фуражке, он стоял на крепких, сильных ногах с рукой, откинутой свободным и широким ораторским движением, с мужественной, уверенной улыбкой на сильном, широком русском лице. Распахнутые полы его пальто были все изрешечены осколками, следы попаданий видны были по всему его могучему корпусу. Но он стоял со своей откинутой рукой, зовущей к борьбе, с этой уверенной и обаятельной улыбкой сильного и простого человека. Его нельзя было убить теперь, как не был он убит 1 декабря 1934 года, потому что Киров, как и дело, за которое он боролся, — бессмертны.

„Октябрина"

Сколько раз германское радио и печать извещали о его гибели, но нет — он жив, красавец-старик. Мы всходим по его трапу, точно взбираемся на стену крепости. Я напрасно назвал его стариком, — я вспомнил его историю, историю линкора «Октябрьская революция». Но он модернизирован. Это вполне современный корабль, оснащенный новейшими машинами и могучей артиллерией. Он точно рожден наново. И потому не только моряки, но и все ленинградцы любовно зовут его «Октябриной».

Разрушения, причиненные фугасной бомбой, упавшей на корабль, заделаны были с профессиональной тщательностью и умением.

— Этого мало! — блестя глазами, с свободным энергичным жестом сухой мускулистой руки сказал контр-адмирал. — Мы получили несколько новых видов вооружения, и мы устанавливали и монтировали его сами, без помощи каких бы то ни было инженерных сил. Вот извольте поглядеть...

Он подвел нас к группе зенитных пулеметов, возле которых дежурил краснофлотец с ярко выраженным монгольским типом лица.

— По некоторым причинам, связанным с трудностями доставки через Ладогу, мы получили части этих пулеметов в разрозненном виде и без всякого указания, как их собирать и монтировать. Знаете, кто их собрал? Вот кто их собрал... — и он указал на краснофлотца, спокойно смотревшего на нас умными карими глазами.

— Как вы сообразили?

— Да ведь видно, что к чему, — отвечал краснофлотец.

— А кто вы по национальности?

— Узбек.

В то время, пока мы разговаривали, слева от корабля послышался характерный свист и разрыв в полутораста — двухстах от корабля легл снаряд тяжелой немецкой артиллерии. Все пришло в стремительное движение. В течение нескольких минут корабль стал неузнаваем, все были на своих местах, корабль грозно затих. [illegible]

ряды ложились на далеких расстояниях от корабля. Нам очень хотелось посмотреть действие мощной судовой артиллерии, но линкор презрительно молчал.

— Почему вы не отвечаете? — спросили мы контр-адмирала.

— Не наше дело бороться с ними. Сейчас их засечет наша сухопутная артиллерия и откроет огонь, и они сразу замолчат. Ведь это хищники: выпустят второпях десятка два снарядов и — молчок: боятся.

Действительно, не прошло и десяти минут, как обстрел линкора прекратился. Ни один снаряд не упал ближе, чем на полтораста—двести метров.

В том, что Ленинград выдержал бешеный натиск немцев в сентябре 1941 года, он многим обязан балтийским морякам. На флот десятилетиями подбирались отборные кадры. Славные традиции флота передаются из поколения в поколение. Жизнь на кораблях сплачивает людей. Этим объясняется, что, несмотря на отсутствие подготовки к войне на суше, моряки показали чудеса отваги и героизма. В их поведении было много наивно-романтического, за что не мало моряков поплатилось своей жизнью. На фоне осеннего золотого пейзажа так выделялись черные матросские бушлаты и фуражки-бескозырки с развевающимися лентами Балтийского флота! Но моряки гордились тем, что враг видит, что против него сражаются военные моряки—балтийцы. С беззаветной отвагой не раз и не пять бросались они в атаку на численно превосходящего и лучше во-

[illegible] врага и отбрасывали его. Не было случая, чтобы немцы выдержали штыковой бой с балтийскими моряками. Даже в тех случаях, когда успевали переодеть моряков в общевойсковую форму, моряки, идя в наступление, расстегивали шинели и вороты гимнастерок, чтобы из-под них видны были полосатые матросские тельники. Из карманов вдруг появлялась бескозырка с лентами и заменяла собой красноармейскую пилотку. Жестокий опыт показал им, что так воевать нельзя. Но кто найдет в своем сердце слова осуждения павшим и кто не снимет благоговейно шапку перед их памятью?

Впоследствии военные моряки-балтийцы влились в части Красной Армии, прошли суровую школу современной войны и до сих пор являются ценнейшими кадрами Красной Армии. Я должен сказать, что во время пребывания в частях Красной Армии, в которых находятся военные моряки—балтийцы, я никогда не замечал с их стороны какой-либо кастовой замкнутости или пренебрежительного отношения к армейцам, столь характерных в дореволюционное время. Единственное, что отличает моряков, —они продолжают считать себя моряками, считают свое пребывание в армии временным и сохраняют морскую терминологию. Где бы они ни были — в лесу, в поселке, в поле, — они называют кухню камбузом, столовую — кают-компанией, уборную—гальюном и т. п. И все они держат письменную связь со своими кораблями. Краснофлотцы линкора [illegible] резолюцию показывали нам об-

ширную переписку со своими товарищами, сражающимися на суше. Письма эти необыкновенно трогательны по выраженным в них чувствам дружбы к товарищам и привязанности к своему кораблю.

„Подполковник Ф. никуда не уйдет"

Моряки-балтийцы поддержали Ленинград не только живой силой, но и своей мощной дальнобойной артиллерией, действующей как крепостная. Кто бывал когда-нибудь в орудийной башне современного линкора, тот знает, что орудие на корабле — это целая фабрика. Вот такие фабрики расположены то там, то здесь по Ленинградскому фронту и бьют по далеким тылам противника.

С поэтом Николаем Тихоновым и писателем Всеволодом Вишневским мы провели памятные в нашей жизни часы на одной из таких фабрик, прочно покоящихся на своем бетонном основании уже девять месяцев.

Моряки-артиллеристы давно одеты в красноармейскую форму. Конечно, они продолжают считать свое пребывание здесь, на суше, временным,— но это единственное, что отличает их от всех прочих артиллеристов: они чувствуют себя моряками. В этом ощущении их поддерживает одним своим видом командир части, старый балтийский моряк, капитан второго ранга, он же подполковник Ф. Да, он капитан второго ранга, но на суше он подполковник артиллерии. Он никак не может расстаться с синим, с золотыми нашивками, флотским мундиром, и,

когда красноармейцы-моряки видят его, они чувствуют, что все в порядке.

За время войны расположение части неоднократно подвергалось налетам с воздуха, сотни бомб и десятки тысяч снарядов легли на территорию части. Но за все время войны она потеряла убитыми и ранеными не более десяти человек. На расположение одной из батарей, где мы находились, легло за время войны восемь с половиной тысяч снарядов. Вся местность вокруг покрыта их осколками. Мы попали в несчастливый день, когда во время очередного обстрела осколок снаряда впился под ребро краснофлотцу Курбатову. Он приложил к груди большую загорелую ладонь. Кровь хлынула между пальцев, и его летняя гимнастерка мгновенно густо окрасилась кровью. Послышался возглас:

— Носилки!

— Я дойду,— говорил Курбатов, смущенно поглядывая на окровавленную ладонь.

— Да ты сядь вот на шинельку,— заботливо говорили моряки.

— Ничего, я дойду,— говорил Курбатов, покачиваясь: он не понимал, что он уже не может итти.

— Болит?

— Больно дыхнуть... да я дойду.

Когда его уже положили на носилки, он подозвал к себе подполковника Ф. и попросил его, чтобы тот позаботился о его возвращении в эту же часть после того, как он поправится от раны.

— Не забудьте, товарищ капитан,— говорил

он, незаметно для себя и для других переходя на морское звание подполковника.

— Я не забуду.

Курбатов закрыл глаза, и его унесли.

— Скажите, если обстоятельства так сложатся, что наша оборона будет прорвана и вам придется уходить, ведь вам уже никак не удастся вывезти эти орудия? Вам придется их уничтожить? — спрашивали мы подполковника Ф.

— Уходить? — он сердито фыркнул.— Это пусть там другие подполковники считают возможным уходить, а подполковник Ф.,— подчеркнул он, давая понять, что мы имеем дело с капитаном второго ранга,— а подполковник Ф. никуда не уйдет.

— Как же вы будете?

— Организуем круговую оборону и будем стоять, пока не выручат.

— А если не выручат?

— Об этом что уж говорить,— сказал подполковник Ф. и выбил трубку.— Я так и дочку свою предупредил. Здесь у меня дочка работает медицинской сестрой. Я ее предупредил.

— Что же она?

— Она, как все,— сказал подполковник Ф.

Катерники

Мы в гостях у моряков торпедных катеров — «катерников», как называют они себя. В их повадке и манерах, в дружеской простоте обращения и скромности, под которыми чувст-

вуется мужественная гордость за свою профессию, есть что-то, объединяющее их с летчиками.

В условиях современной войны на Балтийском море войну ведет так называемый «москитный флот» — и прежде всего торпедные катеры и подводные лодки. Десятки немецких судов погибли благодаря отчаянным действиям торпедных катеров и подводных лодок. Их деятельность, сопряженная с постоянной смертельной опасностью, требует необычайной отваги, выдержки и исключительно умелого обращения с той техникой, которая дана в руки морякам-катерникам и подводникам.

Главную опасность для торпедных катеров и подводных лодок представляют мины. В Балтийском море развертывается жестокая минная война. Море так начинено минами, что моряки называют Балтийское море «суп с клецками».

Отвага моряков торпедных катеров беспримерна. На вопрос:

— Как живете?

Мы слышим веселый ответ:

— Живем хорошо. Будем жить еще лучше.

Капитан-лейтенант Гуманенко—Герой Советского Союза. Это совсем еще молодой человек. Несколько месяцев назад, когда ему присвоено было звание Героя Советского Союза, он был еще в звании старшего лейтенанта. Это стройный, крепкий, загорелый, застенчивый, умный, сероглазый парень с русыми, золотящимися волосами — любимец катерников-краснофлотцев.

Свою первую боевую операцию Гуманенко

провел на двадцать третий день великой Отечественной войны. Нагруженные войсками, танками, артиллерией, корабли противника готовились высадить десант на советское побережье. В ночь на 13 июля 1941 года торпедные катеры Гуманенко вышли в море. Часа в четыре утра показался огромный караван неприятельских судов в сорок восемь вымпелов.

Восемь миноносцев, семь сторожевых кораблей, полдюжины крупных транспортных барж, торпедные катеры, застилая дымом небо, шли в чуть брезжущем свете раннего утра.

Гуманенко дал сигнал к атаке, катеры развернулись и, вспенивая море, понеслись на сближение с караваном. Чудовищной силы огонь открыли немецкие корабли по советским торпедным катерам. Снаряды сыпались в море, как град, оно побелело от всплесков. Поставив дымовую завесу, катеры врезались в самую гущу фашистской флотилии, в середину трех вражеских кильватерных колонн, и выпустили свои торпеды. Почти одновременно раздалось несколько взрывов. Взметнулись столбы огня и дыма. Два больших транспорта с войсками и миноносец противника тонули на глазах всей эскадры.

Однако катеры не уходили. Вот пошла на них неприятельская баржа с боеприпасами. Огонь вражеской артиллерии бушевал вокруг смельчаков. Катер, на котором находился Гуманенко, получил два прямых попадания. Ранило моториста. Из строя вышел мотор. По катеру, потерявшему скорость, начали бить все вражеские корабли. Море кипело вокруг.

Гуманенко спокойно отдавал распоряжения, наблюдал за тем, как заделывают пробоины, и отвечал врагу пулеметным огнем. Ему на выручку пришли другие катеры. Они поставили дымовую завесу, укрыли товарища и, отбиваясь пулеметами от вражеских кораблей, увели его в базу.

Не прошло и трех недель, как два торпедных катера Гуманенко вместе с двумя катерами капитана-лейтенанта Осипова с такой же беззаветной отвагой атаковали пять вражеских миноносцев. После короткого молниеносного боя немцы лишились трех боевых кораблей.

Но самой яркой и крупной операцией, проведенной Гуманенко на Балтике, явился разгром вражеской эскадры у острова Эзель.

— Расскажите нам о ней,— попросили мы его.

Гуманенко смущен.

— Я расскажу немного погодя,— говорит он с улыбкой,— право, расскажу. Вот чайку попьем — и расскажу. А вы пока расскажите про писателей.

Видно, что Гуманенко не скромничает, а просто не приготовился к рассказу. Некоторое время спустя, без всякого нового побуждения с нашей стороны, он рассказывает нам всю операцию у острова Эзель, рассказывает естественно и свободно, без жеста, без улыбки, без всякого упоминания о себе.

Вот в чем состоял подвиг Гуманенко, бывшего тогда старшим лейтенантом. Гуманенко командовал отрядом торпедных катеров, в который входило четыре катера. Двадцать седь-

мого сентября 1941 года к острову Эзель подошли немецкий крейсер типа «Кельн», быстроходный лидер и пять миноносцев. Они залпами начали бить по линии нашей обороны. Гуманенко решил ворваться в их расположение и потопить их.

Для того, чтобы подойти к судам неприятеля, катеры должны были пройти некоторое расстояние. Движение катеров было замечено авиацией противника, которая во все время движения катеров беспрерывно атаковала их, пикируя на катеры, сбрасывая бомбы и подвергая их пулеметному обстрелу. Юркие катеры, искусно маневрируя и отбиваясь от самолетов, храбро мчались вперед.

Немецкие корабли встретили катерников шквальным артиллерийским огнем, но катеры приблизились настолько, что выпустили свои торпеды наверняка. В результате торпедной атаки пошли ко дну немецкий крейсер типа «Кельн», два эсминца и был подорван вражеский лидер.

Во время этого неравного боя один наш боец был убит. От прямого попадания неприятельского снаряда один катер опрокинулся и стал тонуть, но Гуманенко и лейтенант Ушев под артиллерийским огнем неприятеля, подвергаясь атакам самолетов, подошли к потерпевшим и спасли экипаж.

— Как жизнь? — приветствовали их на базе.

— Жить можно,— отвечали катерники.

Владимир Поликарпович Гуманенко — бывший рабочий симферопольского завода. В 1933 году он добровольно пошел служить на флот.

Имя его среди Героев Советского Союза может быть отмечено не только как имя отважного человека, — отважных людей у нас очень много, — а прежде всего, как новатора морского боя, смело опрокинувшего все нормативы в использовании такого оружия, как торпедный катер. Гуманенко — признанный мастер торпедных атак. Он доказал, что катеры могут самостоятельно вести бой против численно превосходящих сил противника, атаковать с предельно коротких дистанций и добиваться точного попадания во вражеские корабли.

Подводная лодка Маяковского

Внимательный читатель сводок Советского Информбюро обратит внимание на то, что начиная с весны 1942 года и по сей день часто появляются сообщения о потоплении военных кораблей и транспортов противника в Балтийском море. Это работа подводных лодок, работа, о которой не принято писать подробно, работа героическая, если принять во внимание, что Балтийское море — «суп с клецками» и что транспорты противника конвоируются военными судами.

Я возьму на себя смелость сказать, что командиры нашего подплава, наряду с командирами торпедных катеров, — это наиболее культурные, смелые и опытные командиры флота, а краснофлотцы-подводники — наиболее грамотные и дисциплинированные моряки.

За время жизни в Ленинграде я побывал на многих подводных лодках, завязал длитель-

ные дружеские связи с моряками подплава. И самыми волнующими воспоминаниями для меня являются воспоминания о том, как лодки направлялись в поход со своих баз, и те мужественные слова прощания и дружбы, которые люди говорили друг другу, отправляясь в поход.

Нет ничего более ненавистного для моряка, когда он заперт, когда залив скован морозами и моряк вынужден бездействовать. Всю зиму моряки подводного флота жили мечтой похода на запад, и вот это время пришло. И молодые люди, с счастливыми лицами, бесстрашно и мужественно ринулись лавировать в «суп с клецками».

С писателем Всеволодом Вишневским, старым балтийским моряком, участником четырех войн, мы провожали в поход подводную лодку «Комсомолец», типа «Щука».

История этой лодки необыкновенна. В дни, когда зачинался советский военно-морской флот и строились первые его суда, поэт Владимир Маяковский обратился к комсомолу с предложением построить подводную лодку за счет добровольных отчислений из заработка молодежи. Тогда только начинали строить первые подводные лодки. Средства были собраны, и лодка была построена. Она была построена, когда Маяковского уже не было в живых.

Экипаж ее был сформирован из московских комсомольцев.

Они были безусые юнцы, когда впервые вступили на борт подводной лодки. А в тот день, когда писатель Всеволод Вишневский и

я спустились в лодку, это были уже опытные «старые» моряки и знаменитые воины. Их осталось уже не так много от того, первого, набора. Другая безусая молодежь приняла традиции боевого корабля, построенного по предложению великого Маяковского. А «старики» почти все уже были на командных должностях. Мы приехали проститься с ними: лодка готовилась в поход на запад.

Конечно, это была уже не та подводная лодка, которую построили по предложению Маяковского. Она была модернизована — все ее механизмы были заменены новейшими современными механизмами.

Ничто не заставляет так преклониться перед человеческим гением, как вид подобных совершенных механизмов, давших человеку власть над самыми непокорными стихиями и являющихся осуществлением самой фантастической мечты человечества. И в то же время — какая сила привычки и любви к этому совершеннейшему из орудий войны нужна для того, чтобы чувствовать себя естественно внутри этого механизма, сродниться с ним, жить в нем. Часы естественно носить в кармане, но неестественно жить внутри часового механизма.

И ничто так не свидетельствует о колоссальном промышленном перевороте, происшедшем в нашей стране за последние двенадцать лет, как вид этих сложнейших и тончайших машин и приборов, сделанных до последнего винтика на наших отечественных заводах. Невольно вспоминалось на этой подводной лодке, что ведь были же в стране такие «политики», кото-

рые считали нецелесообразным и невозможным создать в нашей аграрной стране крупную машинную индустрию, а хотели форсировать легкую промышленность. Это означало бы променять наши самолеты и наши подводные лодки на галантерею. Хороши бы мы были в этой войне!

Дело не только в том, что мы являемся теперь обладателями совершенной передовой техники. А дело в том, что в стране родились поколения людей, понятия не имеющих о том, что их деды и даже отцы были рабами природы, родились поколения людей грамотных, волевых, уверенных в своей власти над стихией. Было радостно и весело смотреть, как ловко девятнадцатилетние парни управлялись с тончайшими и сложнейшими механизмами, такими механизмами, которые для большинства людей моего, еще далеко не старого, поколения казались существующими только в фантазии Жюль Верна.

На лодке было то состояние возбужденной деятельности и приподнятого веселья, какое всегда возникает на военных судах и в воинских частях, уже обжившихся в войне, в предвкушении битвы. Эти молодые люди были счастливы тем, что они идут в море, счастливы тем, что они идут на запад — сражаться. Наконец-то они погрузятся в этот «суп с клецками» и будут топить немцев! Они настолько верили в свою звезду, в свое счастье-удачу, что нельзя было не преклониться перед ними. И все же глубокое волнение охватило нас, когда наступила минута прощания. Я никогда не забуду этих рукопожатий.

Все советские люди любят Москву. Но экипаж «Комсомольца», где в большинстве были москвичи, в течение нескольких лет не видавшие родного города, относился к Москве с сыновней страстной любовью.

— Будете в Москве, кланяйтесь Москве! Поклонитесь улицам Москвы! Передайте наш привет Сталину! Скажите Цека комсомола, товарищу Михайлову, что мы свой долг выполним! Скажите — пусть не забывает нас.

Только что звучали эти молодые, страстные, счастливые голоса. И в представлении моем встает тишина над водой, плеск волны и то появляющееся, то исчезающее в солнечной ряби узкое, длинное стальное тело «Щуки»,— она все плывет на запад, она все меньше и меньше, она уже кажется иглой. И вот уже нет ничего на водных просторах.

О первых шагах «Комсомольца» в море я расскажу в следующей главе.

Балтийский почерк

Я подружился в Ленинграде с двумя моряками подплава — Петром Грищенко и Михаилом Долматовым. Петр Грищенко командовал подводной лодкой и был награжден за Отечественную войну орденом Красной Звезды. Михаил Долматов, его товарищ и ровесник, был когда-то комиссаром на его подводной лодке, а когда мы познакомились, работал в Политуправлении Флота.

До чего же это были разные люди! И все-таки их тянуло друг к другу. Петр Грищен-

ко — красивый черный моряк со сросшимися бровями, сосредоточенный в себе, организованный, целеустремленный — человек с самостоятельным, независимым мышлением. В сущности у него только один самый задушевный друг — это дневник, который он ведет, и еще один хороший товарищ — это Михаил Долматов. А Михаил Долматов — широкая русская натура, с настоящей русской повадкой, выходкой и хитрецой, которая помогает ему ладить с Грищенко.

По потребностям работы их развели, и одной из тем наших разговоров было постоянное желание обоих вновь соединиться на одной подводной лодке.

Любимое выражение Михаила Долматова — «балтийский почерк». Этим выражением он определяет все героическое, выдающееся, удивительное и прекрасное из того, что происходит на флоте. Балтийский почерк — это деятельность торпедных катеров и подводных лодок в море, балтийский почерк — это Герой Советского Союза Гуманенко, это контр-адмирал Москаленко, это капитан второго ранга, он же подполковник Симонов. И если моряк хорошо танцует — это тоже балтийский почерк. И знаменитая балтийская краснофлотская самодеятельность — это тоже балтийский почерк. И то, как Петр Грищенко и Михаил Долматов пикируются друг с другом, нанизывая самые обидные, остроумные, самые веселые и соленые словечки и поговорки,— это тоже балтийский почерк.

И вот мне пришлось провожать подводную

лодку капитана второго ранга Петра Грищенко в море. И, конечно, Михаил Долматов был вместе с ним. Случилось это так: как только Долматов узнал, что подводная лодка Грищенко выходит в море, он, что называется, упал в ноги к начальнику, и его отпустили.

— А «Комсомолец»-то, а? — встретили меня Грищенко и Долматов торжествующими возгласами.— Вот это балтийский почерк!

— А что «Комсомолец»?

— Да только что вышел в море и сразу потопил немецкий транспорт в двенадцать тысяч тонн — получена радиограмма...

— Ну, Петька, смотри, брат,— вдруг сказал Долматов, погрозив пальцем своему товарищу,— смотри, брат!..

— Уж как-нибудь,— спокойно отвечал Грищенко, не удостаивая друга даже взглядом.

Видно было, что в его непокорной черной голове роятся такие планы, перед которыми потопление транспорта в двенадцать тысяч тонн — просто детская забава.

Так проводил я их в море. А о действиях их подводной лодки я прочел уже на нынешних днях в газете «Известия». Я приведу целиком эту заметку: она называется — «Пять атак подводной лодки».

«Успешно завершив длительный и трудный поход, наша подводная лодка вернулась в родную базу. На боевой рубке мы с гордостью написали цифру пять — это боевой счет нашего корабля: один вражеский танкер, три транспорта и один миноносец, потопленные нами.

Первую атаку мы произвели на немецкий

танкер. Он шел в сильном охранении. Казалось, что нет никакой возможности осуществить наш замысел. Пришлось прибегнуть к хитрости. Расчет был на дерзость и внезапность нападения, на умение и стойкость экипажа.

Обе торпеды точно ударили в танкер — самое большое судно каравана, водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн. Вражеский корабль был потоплен.

В ту же минуту нас атаковали корабли охранения. До сорока бомб сбросили они на подводную лодку. Из строя вышли многие приборы. Командир отделения электриков Анисимов, товарищ Беляков, Бурдюк и другие в эти грозные для экипажа минуты показали себя стойкими и умелыми моряками. Они быстро устранили последствия повреждений и этим дали возможность оторваться от преследующего врага.

Спустя семь суток, мы повстречались с тремя транспортами. Это случилось ночью. Слабый и неровный свет луны затруднял атаку, но я верил в своих людей, был убежден, что они с честью справятся с возложенной на них задачей, и не ошибся. Два транспорта, каждый водоизмещением по восемь тысяч тонн, были пущены на дно.

Сейчас наступила осень. Балтийская осень не балует моряков благоприятной погодой. Туманы и штормы затрудняют плавание. Но именно такое время враг считает наиболее безопасным для осуществления своих планов. Поэтому мы удвоили и утроили бдительность. Наши торпедчики и на этот раз не подкача-

ли. Сразу же дали залп по транспорту, и снова прямое попадание. Новая, пятая по счету, победа».

Подписана эта заметка: командир подводной лодки, капитан второго ранга П. Грищенко.

К этой заметке я могу добавить только одно: это — балтийский почерк.

Эпрон

Нет во всем СССР мальчишки, который бы не знал этого слова и для которого оно не звучало бы, как самое экзотическое и прекрасное слово из романа приключений.

И в самом деле, что может быть романтичнее и чудеснее, чем подпимание со дна морей и океанов судов, погибших в бурях, битвах, иногда — в далекие, подернутые сказочной дымкой, времена. И каждый мальчишка в СССР знает Фотия Ивановича Крылова, начальника Эпрона, этого кудесника, извлекающего сказочные суда со дна моря.

О Эпроне не пишут во время войны. «Наверно, сейчас не до Эпрона»,— с грустью думают мальчишки в СССР. Но они ошибаются. Эпрон живет и действует. Подвергаясь атакам с моря и воздуха, он продолжает извлекать суда, затонувшие в боях, и делает многое другое на всех морях Советского Союза.

Фотий Иванович Крылов, контр-адмирал, жил и продолжает жить в Ленинграде. Как и многие адмиралы наших флотов, он прошел морскую службу с самых низших матросских ступеней. Большую часть времени он проводит

на своих спасателях, героических кораблях Эпрона. Но у него есть и квартира в одном из районов Ленинграда. Один снаряд уже «загвоздил», по образному выражению Фотия Ивановича, в его дом, и в квартире у него нет стекол.

Перед тем как снарядить нас к своим водолазам, контр-адмирал, верный обычаям флотского гостеприимства, дает нам ужин. Это — роскошный ужин в блокированном Ленинграде: несколько кружков каменной колбасы, несколько банок рыбных консервов и большой графин спирта.

— Спирт я украл у водолазов. Он им полагается, но я его украл специально для братьев-писателей, и пусть государство меня судит! — говорит Фотий Иванович.

Нужно побывать на его квартире, рассмотреть развешанные по стенам фотографии его юности, фотографии его родных и товарищей, чтобы понять, какой путь проделал этот человек с самых глубоких трудовых низов до своей теперешней всесоюзной известности. Фотий Иванович — небольшого роста, худощавый, с выбритым сухим лицом и тонкими губами, подвижной, несмотря на ревматизм в ногах, седоватый моряк — матрос и контр-адмирал, мастеровой и начальник цеха в одно и то же время. Речь его образная и полная народного юмора. Он нарочито простоват, умен, хитер, а жесты его рук таковы, что видно: он привык повелевать и в то же время он — мастеровой, все может сделать своими руками.

Боевая деятельность Эпрона началась в пер-

вый же день войны. Двадцать второго июня,— как известно, это было в воскресенье,— в 12 часов дня Фотий Иванович собирался выехать на дачу и в это время услышал по радио речь В. М. Молотова. Едва смолкли последние слова речи, как раздался телефонный звонок, сразу призвавший контр-адмирала к действию. На важнейшем фарватере, обеспечивающем выход судов в море, произошла диверсия. Наш транспорт, шедший в Эстонию, подорвался на неизвестно откуда появившейся в этих водах мине и затонул, перегородив фарватер.

Фотий Иванович тут же дал приказ одному из судов-спасателей срочно выйти к месту для производства работ, а сам на быстроходном катере выехал к месту аварии. Еще до прихода спасателя удалось обнаружить и выловить вторую мину. По характеру местности и по типу мины можно было установить, что мины были завезены с берега. Эпроновцы показали чудеса в темпах работы. Не прошло и двух часов с того момента, как стало известно о диверсии, а уже фарватер был свободен.

Но это была обычная работа Эпрона. С войной на плечи Эпрона легли самые разнообразные работы, иногда в сложнейших боевых условиях. Под бомбежкой врага Эпрон строил осенью 1941 года пристани на Ладоге. Его спасатели, беспрерывно атакуемые неприятельской авиацией, обслуживали первый водный путь чрез Ладогу, и один из спасателей погиб геройской смертью. Командир судна, погрузив команду на шлюпки, оставался на нем до по-

следней минуты и вместе с судном пошел на дно.

Исключительную отвагу, стойкость и мужество и нечеловеческую физическую выносливость показали водолазы Эпрона во время зимних работ. На плечи Эпрона легла обязанность обслуживать ледовую трассу через Ладожское озеро — извлекать из-подо льда тяжелые грузы, орудия, танки КВ, эти сухопутные линкоры, в тех случаях, когда они проваливались под лед. Эпрон поставил своей задачей ни одной тонны драгоценного груза не отдать озеру и выполнил эту задачу с честью. При страшных северных морозах люди работали в ледяной воде в то время, когда район работы подвергался бомбардировке с воздуха. Водолаз, вытащенный из воды, мгновенно обрастал толстой ледяной корой и не мог шевельнуть ни одним членом. Его бесчувственное тело клали на санки или в машину и везли в ближайшую палатку отогревать.

Эпроновцам пришлось глубокой осенью, когда уже начались морозы, но озеро еще не покрылось льдом, проделать одну подводную операцию, которая не может не вызвать восхищения и удивления. В ледяной воде водолазы должны были пройти большое расстояние, причем они не могли работать в скафандрах с наружной подачей воздуха, а должны были работать в кислородных масках.

Мне кажется, есть на свете вещи, которые в силах вынести только русский человек. Работу, которую вел Эпрон в условиях ленинградской зимы, могли проделать только рус-

ские водолазы. Они понесли не одну жертву от бомбардировок, но они гордятся тем, что ни один из них не простудился.

Помню, с какой спокойной, умной и насмешливой улыбкой, вызвавшей смех всех присутствовавших, ответил нам водолаз на вопрос — не болел ли он от простуды.

— Насморку не было, — сказал он.

Ленинградский фронт летом 1942 года

За три месяца пребывания в Ленинграде мне пришлось побывать почти на всех важнейших участках Ленинградского фронта внутри так называемого «кольца». Особенность этого фронта в том, что он на протяжении многих месяцев более или менее стабилизировался. Стабилизация эта, конечно, и в эти летние месяцы была очень относительная. На всех участках фронта происходили довольно сильные бои местного значения, и линия фронта менялась. Начиная с ранней весны 1942 года, инициатива этих боев в подавляющем большинстве случаев находилась в наших руках, и все изменения линии фронта были в нашу пользу. Но командование Ленинградского фронта прекрасно понимало, что враг не отказался от попытки захватить Ленинград и всегда можно ждать, что, сосредоточив на том или ином участке значительные силы, враг попробует прорвать линию обороны и ворваться в город или, во всяком случае, эту линию перерезать.

В этих условиях командиры частей Ленин-

градского фронта справедливо расценивали как одну из важнейших своих задач — преодоление в бойцах известной привычки к окопной жизни и порождаемой ею инертности. И сами командиры, и бойцы неустанно учились,— учились и учатся в боевых условиях.

Части Ленинградского фронта — это в большинстве своем закаленные части. Среди них не мало таких, которые проделали опыт финской войны 1939—1940 годов. Среди бойцов и особенно среди командного состава не мало людей, которые рано прошли школу современной войны, первые поняли особенности современной войны против германского фашизма, приобрели неоценимый опыт этой войны и являются сейчас бойцами и командирами того нового типа, который нужен нашей армии.

Эти части испытали на себе всю тяжесть первого внезапного удара врага, они отступали, бывали в окружении. Они знают, что такое танки и авиация, в чем их сила и как бороться с ними. Они научились давать отпор немцам, они остановили немцев под Ленинградом, заставили их зарыться в землю и поняли, что враг может не только катиться навстречу лавиной в сопровождении моторов, рокочущих в небе и грохочущих на земле, а враг может быть грязным, вшивым и жестоко побитым. А опыт боев в январе 1943 года, когда прорвана была блокада Ленинграда, показал бойцам Ленинградского фронта, что они могут взламывать опорные пункты, укрепленные по последнему слову техники и вооруженные до предела пулеметами, автоматами и артиллерией, и

бить врага там, где он считает себя неуязвимым.

Бойцы и командиры Ленинградского фронта — это в значительной своей части сами ленинградцы. Они защищают свой родной город. Они пережили с ним все трудности и лишения. Они потеряли родных и близких, умерших от голода и холода. И чувство любви к родному городу и чувство мести врагу являются движущей силой их действий и поступков. А те из бойцов и командиров, которые сами не являются жителями Ленинграда, прошли вместе с ними суровые дни блокады и сроднились с Ленинградом и ленинградцами. Нигде с такой силой не ощущается слияние армии с населением, как в Ленинграде. Ленинградцы знают в лицо своих любимых героев, они не раз видели их на фотографиях, на митингах и собраниях, слышали их голоса по радио и лично встречались с ними.

Бесконечной любовью населения Ленинграда пользуются летчики. Ленинградцы прекрасно понимают, что именно они, героические летчики Ленинграда, спасли город от варварского разрушения и спасли ленинградских детей и женщин от гибели. Своих любимых героев-летчиков ленинградец знает не только по имени и в лицо, он не раз видел их в бою над городом при ярком солнечном свете или в ночном свете, прорезаемом лучами прожекторов,— он видел их победы, когда горящие вражеские самолеты падали в город, и видел героическую гибель некоторых из своих любимцев. Зенитчики — это уже совсем свои люди в Ленингра-

де, они живут тут же, среди населения. Ленинградцы сами изготовляют вооружение для своего фронта. И когда шли бои за Ям-Ижору, кончившиеся взятием этого населенного пункта нашими частями, рабочие Ижорского завода под артиллерийским огнем, неся жертвы, так же как и бойцы наступающих частей, ремонтировали танки, только что вышедшие из боя, и тут же отправляли их в бой.

Истребители

Относительная стабилизация Ленинградского фронта способствовала более широкому, чем на других фронтах, развитию снайперского движения. Как и на других фронтах, здесь есть знаменитые, выдающиеся люди, на счету каждого из которых по нескольку сот убитых врагов. Имена их гремят по всему фронту и по другим фронтам. Но в снайперское движение на Ленинградском фронте вовлечены без преувеличения десятки и десятки тысяч бойцов.

Это — снайперы не только с ружьем, оснащенным зрительным прибором. Это — снайперы, использующие все виды оружия, в том числе обыкновенную, простую русскую красноармейскую винтовку. Сами они называют себя истребителями. И действительно, это подлинные народные мстители, преисполненные лютой ненависти к врагу, которого они выслеживают и убивают днем и ночью, как дикого зверя.

В любой части они, как бродильные дрожжи, никому не дают успокоиться. Старший сержант

Хрипливый, бесстрашный и опытный артиллерийский разведчик и в то же время снайпер-истребитель, рассказывал мне:

— Прихожу раз днем на передний край в пулеметный взвод, а они спят. «Почему немцев не истребляете?» — «А у нас времени нету, ночью дежурим, днем спим». Присмотрел я место, посидел день,— ничего. «Видишь,—говорят,— ничего у тебя не выходит». А на другой день я с этого места троих убил. «Ну,— говорят,— теперь уходи, коли так, теперь мы сами истреблять будем». И правда, стали истреблять!

На берегу синего озера, под прикрытием горы, густо поросшей сосновым лесом, мы собрали группу снайперов-истребителей побеседовать. Знатные снайперы в этой части — старшина Суворов и старший сержант Рогулин. Они редко видят друг друга, но заочно соревнуются, и если один обгонит другого, можно не сомневаться, что другой приложит все усилия, чтобы сравняться с ним и в свою очередь обогнать. Так они и идут вровень, и в тот месяц, когда мы встретились с ними, оба истребили по тридцать два шюцкоровца.

Лейтенант Горбатенко, отважный разведчик, рассказал нам о своеобразной дуэли, которую он в течение суток вел с неприятельским снайпером. Заняв позицию с ночи, лейтенант Горбатенко к рассвету заметил какое-то шевеление за кустиком, на краю вражеского окопа. Приблизительно определив человека за кустом, Горбатенко выстрелил. Через несколько мгновений из вражеского окопа высунулась солдат-

ская лопатка и покачалась из стороны в сторону. Противник сигнализировал, что он не убит. Горбатенко притаился и довольно долго ждал, пока противник проявит себя. Но никакого движения не чувствовалось во вражеском окопе. Горбатенко, замаскированный по местности, попробовал чуть выглянуть, чтобы рассмотреть внимательнее, но в то же мгновение раздался выстрел от вражеского окопа и пуля визгнула над ухом, опалив лейтенанту волосы. Горбатенко нырнул в окопчик, высунул свою лопатку и покачал ею из стороны в сторону, показывая, что он не убит.

Так, меняя позиции и выслеживая друг друга, они вели эту дуэль в течение многих часов, всякий раз сигнализируя лопаточкой о том, что выстрел противника неудачен.

Все-таки Горбатенко убил врага. Горбатенко его обманул. После одного из выстрелов врага он не дал сигнала лопаткой и притаился, точно был убит. Через некоторое время противник решил убедиться в этом и стал выглядывать, но Горбатенко не подавал признаков жизни. Как он и рассчитывал, через некоторое время враг потерял всякую осторожность и высунулся настолько, что Горбатенко поразил его насмерть.

Катя Брауде

В середине июня мы выехали на один из участков фронта в полк майора Мустафина. Он только что вернулся с переднего края, сапоги его были все в пыли. Мы стояли возле

его блиндажа, и я рассматривал его. На одежде его лежала скорее печать труда, чем войны. В нем вообще не было ничего аффектированного. Лицо смуглое, татарковатое, с коротко подстриженными черными усами, лицо скромное и умное, жесты естественные, спокойные и точные. В руке у него была палка, вырезанная в лесу и обструганная. И видно, она была нужна ему не для того, чтобы подражать Суворову, а для того, чтобы, идя по лесу, сбивать головки цветов, что очень помогает думать.

Он пригласил нас в блиндаж. Тотчас же взял щетку и вышел из блиндажа, чтобы почистить сапоги. И это мне тоже очень понравилось в сочетании со всем, что я видел.

Блиндаж майора Мустафина очень походил на него самого. В нем было чисто, но не было того особенного шика и блеска, вроде отделки стен фанерой, как «в лучших домах», или бумажных цветов в фальшивых, бумажных, с распушенными краями, горшках, или рогов и трофейного оружия на стене, ни других атрибутов командирского блиндажа, столь распространенных. Все у него было в простом, естественном порядке, и все говорило, что для хозяина блиндажа война есть прежде всего одна из разновидностей труда. Обстановка его блиндажа была обстановкой военного-труженика.

Мы знали о том, что майор Мустафин окончил военную академию, участвовал в финской войне и в нынешней — с самого начала ее. Он командовал полком на том участке Ленинградского фронта, который по харак-

теру местности можно было предполагать как наиболее возможный для прорыва его неприятелем. И по непрерывному говору ружей и пулеметов, доносившемуся с переднего края в этот наиболее сонный час летнего дня, можно было догадаться, что здесь всегда жарковато.

На наши вопросы он отвечал очень коротко и точно. В полку его была значительная прослойка бойцов и командиров, начавших свой военный путь с самого начала войны. Была известная часть командиров, участников еще финской войны. Но большая часть бойцов была из новых пополнений, среди них значительное число татар и марийцев.

— Расскажите нам о некоторых, наиболее выдающихся бойцах-героях вашей части.

— Герои у нас есть,—сказал он,— но такие же, как везде, и не больше, чем их бывает во всякой части.

— Но все-таки.

Майор Мустафин назвал несколько имен и кратко охарактеризовал дела этих людей.

— А еще? — спрашивали мы.

— А еще есть у нас пулеметчица очень интересной судьбы,— покорно и уныло начал он, так, точно не раз уже рассказывал об этом и все это ему уже достаточно надоело, но он видел, что придется рассказать еще раз, если уж люди этого так хотят.— Она служила в госпитале в Ленинграде, служила как вольнонаемная, а не военнообязанная. Получила известие о том, что муж ее на фронте убит. Она стала обучаться пулеметному делу, не бросая работы в госпитале, и когда поня-

ла, что овладела пулеметом в совершенстве, стала проситься, чтобы ее пустили на фронт пулеметчицей. Ее, как женщину, долго не хотели пускать, но она добилась своего, и вот сейчас — одна из лучших пулеметчиц в нашем полку по владению оружием, меткости стрельбы и по отваге. Была уже ранена, но отказалась уйти из части и сейчас вот дерется, как раз на том участке, откуда доносится стрельба.

— А как ее зовут?

— Фамилия ее Брауде, а зовут не то Китти, не то Кэт,— бойцы зовут ее запросто — Катей.

— Можно ее повидать?

— Повидать-то можно, да ведь отзывать ее оттуда не к чему, а вам... — он запнулся.

— Конечно, мы с радостью пройдем к ней.

— Что ж, можно,— сказал он без всякого выражения на спокойном, умном, смуглом лице.— Только я хотел бы показать вам сначала курсы, которые у нас есть в каждом батальоне,— там мы обучаем наиболее стойких, дисциплинированных и опытных бойцов, хотим сделать из них младших командиров.

Был час обеда, и из кухни одного из батальонов ротные повара и их подручные разбирали ведрами суп и кашу, чтобы отнести их бойцам на передний край. Суп был мясной и наваристый, а каша пшенная,— бойцы называют ее «блондинкой» и любят ее меньше, чем гречневую, которую они называют, впрочем, не «брюнеткой», а чаще «нашей строевой» или «кадровой»,— и «блондинки» было достаточно. Я вспомнил, что, когда мы из ты-

ла подъезжали к полку майора Мустафина, мы в заднем его эшелоне видели баню. Мускулистые бойцы с белыми и розовыми телами и загорелыми лицами, шеями и руками выскочили из блиндажа-бани, изрядно, видно, напарившись, все еще хлеща друг друга свежими березовыми вениками и весело гогоча.

Мне понравилось, что и бойцы, и командиры, попадавшиеся нам по пути, не проявляли по отношению к майору Мустафину подчеркнутых знаков чинопочитания, но не было и распущенности в их отношении к командиру. И опять-таки было в этом что-то похожее на отношение рабочих и мастеров к начальнику цеха, в знания которого они верят и именно поэтому уважают его и подчиняются ему, а не потому, что он может на них накричать и распорядиться их судьбой.

Местность, где был расположен этот батальон, была лесистая,— батальон стоял во втором эшелоне. Учение бойцов-курсантов было прервано, и мы провели с ними беседу. Среди бойцов немало было татар, плохо знавших русский язык, и майор Мустафин, сам татарин, переводил вопросы бойцов и наши ответы.

Среди бойцов-русских особенно много вопросов задавал молодой человек с черными и стремительными, как два жука, глазами. Он неожиданно возникал из гущи где-то сзади и точно выстреливал:

— Какая страна в Южной Америке отказалась объявить войну Германии?

— Какими источниками нефти может располагать Гитлер?

— Какое положение в Иране?

Все его вопросы были вопросами международного характера. Иногда не все ему было ясно в наших ответах, и тогда он переспрашивал, а некоторые ответы, видимо, не удовлетворяли его, но он считал обстановку недостаточно благоприятной для спора.

— Кто это? — спросил я командира батальона, когда мы покинули курсы.

— Это боец-комсомолец из колхоза Калининской области, учится на агитатора.

— Где он учится?

— Учится везде, у всех и у всего: всех расспрашивает, читает газеты, книги — и прекрасный боец. Этот парень далеко пойдет.

— Что ж, теперь пора посмотреть Катю Брауде,— сказали мы.

— Это мы успеем,— ответил Мустафин,— надо сначала пообедать.

И вот мы снова очутились в блиндаже Мустафина. То, что я хочу передать сейчас из рассказов Мустафина, не было выражено им в виде одного связного рассказа, как это мне приходится передавать, а сложилось в результате многих наших вопросов и его ответов. Вот к чему сводятся наблюдения майора Мустафина на войне.

— Наши бойцы — прекрасный народ и те, кто пришел недавно, это тоже великолепный народ. И мы на Ленинградском фронте имеем сроки многому обучить их. Но чему их трудно обучить сейчас? Реальному представлению

о действиях массированной техники в современной войне. Сидит боец на переднем крае, видит передний край противника. Он стреляет, противник стреляет. Иногда его потревожат мины или снаряды, иногда самолет или два, три сбросят бомбы или подразделения противника во главе с тремя или пятью танками после солидной артиллерийской подготовки попытаются выбить его с позиции. Иногда он сам участвует в наступательной операции, переживает все, что переживают в атаке, врывается в окоп под огнем, приходится пустить в дело штык. Он видел уже немало раненых и убитых и сам убивал, и после этого ему кажется, что он все видел, все понимает. И когда спросишь его: «Ну, а если вот на твоем участке противник попытается сделать прорыв, так ты будешь действовать?» — «Не стать привыкать. Они, значит, пойдут против нас, а мы, значит, будем их бить». Ему очень трудно представить, что это будет на самом деле, когда именно на его участок обрушится вся мощь артиллерийского огня, когда целые авиационные соединения обрушат на него сотни и тысячи бомб и ринутся десятки и сотни танков. Здесь многие из бойцов проявят чудеса геройства, но многие потеряются, а некоторые попытаются найти спасение в бегстве, хотя бегство в таких условиях — это верная смерть. А многие наши младшие командиры и те бойцы, которые уже имеют опыт войны со всей мощью ее техники, вместо того чтобы объединять вокруг себя всех и командовать ими, заменят собой всех остальных и по-

гибнут в первые же минуты... У нас очень много индивидуального геройства, но геройства мало, если герои не видят свою задачу прежде всего в том, чтобы объединять вокруг себя остальных, систематически, заранее, изо дня в день приучать всех к своему опыту и в минуту опасности командовать ими, а не сражаться за всех. Надо воспитывать в командирах и передовых бойцах сознание того, что они водители, учителя и, когда надо, даже деспоты по отношению ко всем остальным. Вот меня один из вас спросил: почему мы созываем на наши курсы уже опытных в боевом деле бойцов, которые и так много знают, а не новичков? Потому что мы воспитываем из этих опытных бойцов, которые уже знают современную войну, командиров современной войны. А новичков надо воспитывать в самой войне с помощью этих кадров. Вы спрашивали меня о героях. Мне кажется, значение части, ее истинное место в ряду других определяется не столько количеством одиночек-героев и совершонных ими подвигов. Оно определяется реальными боевыми делами, совершонными всей частью, как целым...

— А все-таки покажите нам Катю Брауде,— сказали мы, смеясь.

— Катю Брауде? — майор Мустафин улыбнулся.— Теперь, пожалуй, уже поздно, не успеем обернуться дотемна.

Это была явная неправда, и это отразилось на наших лицах.

— Вы извините меня,— смутившись, сказал майор, — но, пожалуй, вам нельзя будет прой-

ти к Кате Брауде. Для того, чтобы попасть к ней, надо пересечь открытую болотистую местность. Мы не смогли прорыть там ходов,— сразу заливает водой,— и местность эта простреливается. Мы-то по долгу службы ходим, а вы люди знаменитые, еще, не дай бог, случится что, и вас жалко, и отвечай за вас.

Признаться, неловко было выслушивать эти замечания здоровым мужикам, из которых младшему было сорок и которые были участниками, по меньшей мере, двух, а некоторые даже четырех войн. И неловко было еще от сознания, что в это время там где-то сражается Катя Брауде.

— Ей, выходит, можно, а нам нельзя,— мрачно сказали мы.

— Так ведь она — солдат,— просто сказал Мустафин.

Вечером, вернувшись от Мустафина в свой блиндаж, мы много думали и говорили о Кате Брауде. Какая она? Как выглядит? Что делает сейчас? Какое чувство двигало ею, когда она пошла на фронт? Если это было чувство мести за мужа, помнит ли она о нем все так же или вошла в быт войны, и это чувство стало другим? Конечно, было ясно для всех, что это — незаурядная женщина. И снова мы пожалели, что не видели Катю Брауде.

Потом один из нас сказал:

— Зато мы видели нечто еще более интересное и важное.

— Что же?

— Мы видели майора Мустафина. Он пре-

славился тем, что, командуя еще батальоном на одном из наиболее укрепленных противником участков фронта, форсировал реку, глубоко вклинился в его оборону и сумел закрепиться, хотя сам был тяжело ранен в голову.

Теперь, когда с момента этого разговора прошло уже довольно много времени, я снова хочу сказать несколько слов о майоре Мустафине.

У нас очень много героев, совершивших и совершающих подвиги, небывалые в истории. И необычайность этих подвигов справедливо пленяет наше воображение. Ничего, например, нет удивительного в том, что из всего виденного и слышанного нами у майора Мустафина нас больше всего увлекла история Кати Брауде. Таких, как она, прекрасных, храбрых женщин и девушек не мало в нашей стране, и всегда они будут пленять наше воображение. Среди этих героев наша армия всем лучшим, что она совершила и совершит, обязана в первую очередь людям, подобным Мустафину, людям, характер или тип которых воспитывает наша армия, начиная от рядового бойца и кончая высшим комсоставом. На этих лишенных всякой позы, простых, скромных, умных людях — людях твердой воли, знающих, чего они хотят, умеющих воспитывать других людей, людях — водителях людей, на них стоит наша Красная Армия, их усилиями она победит.

Защитники Ханко

Холуйская армия — так называют наши бойцы финскую армию. Холуй примечателен тем, что он с особенной, старательной угодливостью повторяет все омерзительные черты своего господина. Наши бойцы справедливо рассматривают финнов, как таких же извергов-оккупантов, что и их хозяева — немцы, и беспощадно истребляют их, как всяких оккупантов, если они не сдаются в плен.

Теперь это уже не те финны, что в начале войны. Они обескровлены, увял их холопский энтузиазм. Они зарылись в землю и пытаются отсидеться в надежде на «лучшее будущее». Передние края, наш и финский, очень близки друг от друга. В иных местах их разделяет не более семидесяти — восьмидесяти метров. Передают, что однажды наши связисты разругались в окопе из-за провода: один просил провода взаймы, а другой не давал. И вдруг из вражеского окопа раздался голос:

— Рус, дай мне буханку хлеба, я тебе дам провод!..

Наши отважные разведчики частенько врываются в финские окопы, уничтожают противника в рукопашном бою. Но все же это самый «тихий» участок Ленинградского фронта: чудесные сосновые леса, древние валуны на пашне, озера, синие, как северное небо, могущественный запах хвои. Можно часами наблюдать за расположением финнов и не увидеть ни одного финна. Они боятся наших снайперов-истребителей.

Мы идем по свежевспаханному полю, во-

круг нас звенят зенитки, высоко в небе хрипят вражьи самолеты, и разрывы снарядов вспыхивают вокруг них, как черные молнии. Где-то за чертою леса и неба пожар. Оранжевый дым медленно всходит к небу, тучный, как опара. Орудийные залпы глухо, как дальний гром, прокатываются по горизонту.

Под прикрытием огня наших пулеметов и автоматов батальон накапливается к атаке. Бойцы ползут, бегут, пригибаясь к земле, пот струится по загорелым лицам. Группы возникают то там, то здесь, они форсируют речку, сапоги у бойцов полны воды. Вот он — последний, страшный исходный рубеж, за которым пустое, насыщенное огнем пространство и — противник. Громовое «ура» сотрясает воздух. Впереди, не достигая наших бойцов, чавкая, ложится минометная очередь.

Женщины, работающие тут же на поле, не оглядываясь, идут по пашне, мелькают их прекрасные руки. На лицах женщин спокойное, суровое, мужественное выражение. Женщины знают, что вражьи самолеты не будут сбрасывать здесь бомб. Хищники летят на Ленинград. Многие из них уже не вернутся. А здесь, на поле — игра, учение наших частей в перерыве между боями. Наступают и обороняются наши, минометы бьют не по бойцам, а по мишеням.

Подразделения, находящиеся в обороне, проявляют недюжинное упорство и прекрасно владеют своими огневыми средствами. Посредники, ковыляя по вспаханному полю, несут мишени, пораженные осколками мин.

Я вижу плотную, на сильных ногах, фигуру командира части, его мясистое лицо, с хитро прищуренными глазами, лицо умное, волевое и с ярко выраженной складкой юмора. Это лицо старого умного украинского солдата, который прошел огонь, воду и медные трубы и не верит на слово. И сам он говорит мало, а ему есть о чем рассказать.

Генерал-майор Симоняк — командир части, прославившей свое имя многомесячной обороной полуострова Ханко. В течение ряда месяцев немецко-финские войска пытались сломить упорство нашей обороны, потеряли не мало людей и техники, но так и не продвинулись ни на один дюйм. Однажды враг сбросил с самолета листовку с предложением сдаться. Листовка была от финского командования.

Сколько веселья было, когда писали ответ! Писали коллективно. Ответ по некоторым своим чертам смахивал на письмо запорожцев турецкому султану. Холуйское положение финнов при немцах было разъяснено в наглядных и хорошо просоленных выражениях. Я читал это письмо. Оно сильно и талантливо. В его составлении большое участие принимал боец Дудин, родом из Иванова, молодой поэт, которого знают ивановские ткачи.

За время обороны бойцы и командиры хорошо узнали и проверили друг друга. Их связала могучая воинская дружба. Когда высшее командование приказало оставить полуостров, немецко-финские войска в течение суток не решались его штурмовать, хотя там уже решительно никого не было.

Генерал-майор Симоняк — командир времен гражданской войны, получивший в мирные годы высшее военное образование. Он прошел первый опыт современной войны в финской кампании 1939—1940 годов и с честью выдержал испытания нынешней войны с германским фашизмом, как защитник Ханко.

В его манере говорить, мыслить и действовать сохранились умная прямолинейность и грубоватость солдата, в нем есть жизненная хватка и хитрость, и все это очень импонирует рядовому бойцу. В то же время это образованный и культурный военный, без всякой позы, умеющий учиться на новом опыте и учить других.

Ученье, свидетелями которого мы были, ставило своей целью приучить бойцов и командиров к решению задач наступления.

— Не все же е м у наступать, придет время — будем и мы наступать, — прищурившись и глядя на меня хитро и весело, очень серьезно говорит генерал-майор. И, словно еще раз обдумав это со всех сторон, он повторяет с улыбкой: — Ведь придется наступать?..

Генерал-майор Симоняк не знал тогда, что на долю его части выпадет честь и слава быть одной из самых передовых в прорыве блокады Ленинграда.

„Труд милосердия"

Последние дни перед отъездом из Ленинграда я жил в гостинице «Астория». Зимой в ней помещался госпиталь, теперь он был уже ликвидирован.

В номере еще попахивало лекарствами, но обстановка его была та же, что и до войны: та же мебель, ковры, картины на стенах. Было чисто, уютно, светло. Действовало электричество, четыре лампочки — вверху, на письменном столе, у постели, в ванной комнате. Действовали водопровод и канализация. Только за кипятком надо было бегать к кубу, на кухню, в подвал.

Однажды в дверь постучались, и вошел молодой человек в форме военного врача.

— Не узнаете?

— Не узнаю.

— Вспомните Гавр, пасмурное утро, советский теплоход причаливает к пристани...

Я сразу вспомнил лето 1937 года, международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже,— стало известно, что Московский Художественный театр прибывает на гастроли, и мы приехали в Гавр встречать земляков. Пока проходили все формальности, мы несколько часов провели на теплоходе среди наших моряков и артистов, и за нами, как гостеприимный хозяин и земляк, ухаживал молодой, очень широкодушный и очень застенчивый судовой врач Федор Федорович Грачев.

— Какая судьба,— вот где и когда привелось встретиться! — воскликнул я.

— Да, Гавр, гастроли Художественного театра в Париже!.. Было ли все это? — засмеялся Грачев.— Художественный театр, во всяком случае, был и есть, а Париж... вон какая штука!.. — он покачал головой.

— Но почему вы в форме армейца, а не моряка?

— Да ведь я не моряк. Я был обыкновенным советским врачом на теплоходе Гражданского Морского флота. Когда стало формироваться ленинградское ополчение, пошел добровольцем в качестве рядового. А во время боев оказалось, что очень нужны врачи. Правда, я терапевт, а там нужны хирурги. Но раз нужны хирурги, я стал хирургом. И вот сейчас работаю в качестве хирурга в одном из военных госпиталей... Вы не удивляйтесь. В Ленинграде ничему не надо удивляться. Возьмите знаменитого ленинградского гинеколога профессора Егунова. Теперь он директор крупнейшего ленинградского военного госпиталя. И ничего — людей научились оперировать наславу.

— Поди, страшно резать без опыта?

— Конечно, страшно, да ведь еще страшнее не резать, когда знаешь, что человеку грозит: жалко человека, вот и набираешься смелости. Мой брат, старый кадровый военный, всегда ругал меня, как человека крайне неоформленного нрава и характера, а теперь с почтением пожимает мне руку. Во времена голода и холода мы не мало подняли на ноги гражданского населения. Военные госпитали Ленинграда отдали населению города семнадцать тысяч постоянных коек. Понимаете, что это такое?

Да, я понимал, что это такое. В знаменитой Европейской гостинице в Ленинграде зимой тоже был госпиталь, обычный рядовой госпиталь, в котором работали обычные рядовые люди. Суровой зимой этот госпиталь попал в

число тех, которые были лишены топлива и электроэнергии. Это немедленно вызвало порчу водопровода и канализации.

В роскошных номерах пришлось поставить железные печурки и на паркетном полу рубить дрова, когда их удавалось достать, а когда не удавалось, — рубить мебель на дрова. За ранеными не успевали выносить. Все унитазы, ванны были завалены калом и отбросами, все это тут же обледеневало. Медицинский персонал валился с ног от голода, холода и непосильного труда. Но до весны тысячи раненых были поставлены на ноги.

К весне госпиталь был закрыт, чтобы привести здание в нормальный вид. Но как это сделать, если попрежнему нет ни света, ни воды, ни топлива? Поручили это дело военному врачу Додзину, проделавшему в качестве врача медсанбата финскую кампанию и начало нынешней войны, а этой суровой зимой сумевшему организовать в Ленинграде образцовый военный госпиталь.

Додзин пришел в новое здание со всем своим медицинским персоналом. И все, начиная от сиделки и санитара и кончая главным врачом и начальником госпиталя Додзиным, стали своими руками очищать здание от отбросов. Презрев всякую брезгливость, они таскали их ведрами, лоханками, вывозили на тачках. Из этого громадного помещения было вывезено около трехсот грузовиков кала и мусора.

После этого все теми же силами они стали мыть, чистить, чинить и красить полы, потолки и стены. Решительно все работы — плотничьи,

столярные, штукатурные, малярные были сделаны руками санитаров, сестер и врачей. Они сами открывали, проверяли и осуществляли новые способы изготовления глины, извести, красок.

Когда я попал в этот госпиталь, бывшую Европейскую гостиницу, по окончании работ, это было прекрасное, светлое, поблескивающее свежепокрашенными стенами и полами здание.

Додзин, маленький человек с большими черными красивыми глазами и спускающимися с висков черными бачками, что делает его похожим на офицера Отечественной войны 1812 года, не в первый раз, видно, показывал результаты своего труда. Должно быть, всякий раз перед его взором вставало все, что здесь было, он чувствовал, что люди, не видевшие этого, не могут понять всего, что они сделали, и он все водил нас из палаты в палату и все рассказывал и все спрашивал:

— Ну, как? А здесь как? А это как?

Мне бросилось в глаза, что есть известная неравномерность в качестве окраски: иные палаты были окрашены с профессиональной чистотой и тонкостью, а иные грубовато.

Додзин засмеялся:

— Это очень просто: одни палаты красили женщины, а другие мужчины. Женщины и работали аккуратнее и краски выбирали понежнее — какую-нибудь голубенькую или розовую. А наш брат разводил в ведре какую-нибудь гадость и давай смолить во всю стену. Помните, как у Гоголя: «По небу, изголуба темному, точно исполинскою кистью наляпаны были по-

лосы из розового золота»... А все-таки конфетка, а не госпиталь! — не выдержал он.

На отдельных участках фронта я видел, как наши военные врачи в условиях походной палатки или блиндажа делали самые сложнейшие операции. Не могу забыть, как врач, только что удаливший почку, разорванную осколком снаряда, увидев нас, выхватил эту страшную почку из ведра и буквально потряс ею перед нашими глазами. Старик гордился этой почкой так же, как санитарный инструктор Ольга Маккавейская гордилась своим пробитым пулей комсомольским билетом. Это был великий труд по спасению жизни людей. Мой знакомец Федор Федорович Грачев был прав: все это делалось из любви к человеку.

В старину работа медицинского персонала во время войны называлась «трудом милосердия». Теперь такое определение этого труда вышло из моды. Но когда я представляю себе, какую самоотверженность, любовь, страсть и мужество души вкладывают в этот труд спасения людей, раненных в бою и пострадавших от лишений блокады, героические санитары, сестры, фельдшеры, врачи Ленинграда, мне хочется вернуть этим словам их прежнее благородное значение.

Июнь — июль

Из последней поездки по фронту я вернулся в конце июня. И не узнал Ленинграда.

На улицах его еще и сейчас можно было встретить изможденные лица, и, нет-нет, по-

падался взору скромно пробирающийся стороной гроб или обернутое в белое полотно тело на двуколке для ручной поклажи. Но ленинградская улица в июне—июле была яркой, залитой солнцем улицей, полной загорелой молодежи, нарядных женщин и детского крика.

В садах и скверах уже в полный лист распустились деревья, по утрам мощно пахло тополями. Все сады, скверы, пустыри, дворы были возделаны под огороды, зелень буйно всходила. Везде, где только пробивалась дикая трава — по обочинам окраинных улиц, в садах и на кладбищах, можно было видеть согнутые спины женщин, рвущих съедобные дикие травы — лепестки одуванчика, щавель, крапиву, лебеду. Проходя по Марсову полю, возделанному под огороды, я видел, что нижние ветви лип общипаны, насколько может достать рука.

Но больше всего можно было узнать ленинградцев по тому, как содержались скверы и сады по всему протяжению проспекта 25 Октября. Они, как до войны, были возделаны не под огороды, а под роскошные цветочные клумбы. И на перекрестках улиц уже можно было купить цветы из ленинградских оранжерей.

Буйно распустившаяся зелень и раскрывшиеся на солнце сверкающие перспективы вод Невы, Фонтанки, Мойки, каналов, — это необыкновенное сочетание воды и зелени яркостью своих красок точно вытесняло все следы разрушений в городе. Он был прекрасен. Вечерами с загородных пашен и огородов пешком и на трамваях возвращались группы женщин и

подростков с охапками зелени и громадными букетами полевых цветов.

Над Ленинградом развернулись белые ночи. Можно было часами стоять на Троицком мосту, когда в белой ночи над Летним садом всходила луна, а внизу, по Неве, недвижные и прекрасные вставали в сиреневой дымке ростральные колонны, громады Фондовой биржи, Зимнего дворца, Адмиралтейства.

И днем и ночью были распахнуты окна ленинградских квартир. Звуки радио-музыки или патефонов вырывались на улицы. Бредя тихим, тенистым переулком, ты мог слышать, как где-то там, в темной глубине распахнутого окна, тонкие пальцы девочки старательно выделывают на пианино свои экзерсисы, изредка строгий голос учительницы доносился из окна. И отрадно было, идя ночью по Невскому, видеть меж крыльев Казанского собора чуть колеблющуюся на тросах громадную серебряную рыбу аэростата воздушного заграждения, готовую всплыть к небу.

Впрочем, их было мало, воздушных тревог, в эти летние месяцы. Ленинградские летчики хорошо охраняли родной город, воздушные бои шли далеко на подступах к нему. Иногда одиночные самолеты прорывались к окраинам и сбрасывали бомбы или торпеды. Артиллерийский обстрел был уже даже не хищническим, а воровским. Вдруг среди ясного солнечного дня или в прекрасной белой ночи раздастся звук отдаленного орудийного выстрела, снаряд, свистя, пронесется над городом и разорвется где-нибудь возле канала Грибоедова или

площади Урицкого. Еще, еще — то там, то здесь,— и вор уже сбежал. Он знает, что ленинградская артиллерия уже засекла его расположение, и если не замолчать и не сменить позицию — вору конец.

На прекрасных улицах Ленинграда уже редко можно было встретить объявление об обмене тех или иных вещей на продукты питания. По всему городу были расклеены афиши о концертах, литературных вечерах, лекциях. В Филармонии шла опера «Кармен» с Вельтцер в заглавной роли. У Александринки, где играла Музыкальная комедия, постоянно толпилась молодежь, раскупая билеты за неделю вперед, а вечерами стайки подростков, юношей и девушек дежурили у артистического подъезда, дожидаясь выхода своих любимцев. Билеты на спектакли и концерты было так трудно достать, что их выменивали на хлеб.

Попрежнему целые толпы народа стояли у свежерасклеенных газет, и попрежнему можно было слышать вопрос: «А ну-ка, посмотрим, что пишет товарищ Андреенко». Но на зеленой траве стадиона имени Ленина, деревянные трибуны и заборы которого были использованы зимой на топливо, уже тренировались футболисты. И бегуны, юноши и девушки, в трусах и майках, бежали по зеленому кругу.

В одно из воскресений в Лесном состоялся женский кросс, в котором участвовали сотни коллективов, десятки тысяч молодых женщин и девушек. Едва взошло солнце, как по всему пути на Лесное потянулись трамваи, грузовики, полные женской молодежи. Иные мчались

на велосипедах, иные шли пешком. Рощи с пышной распустившейся листвой стонали от песен — казалось, что нет на свете никакой войны и никакой блокады. По широким аллеям среди солнечных пятен, в разноцветных спортивных костюмах своих организаций, с номерами на блузках и майках, мчались ленинградские девушки, которым предстояло еще самим воевать и быть матерями нового благородного и счастливого поколения.

Ленинград бессмертен

Ленинград устоял в блокаде не только потому, что люди, воспитанные за два с половиной десятилетия существования советской власти, настолько же выше своих врагов, насколько человек выше дикого животного. Ленинград устоял потому, что, как и вся наша страна, он выше своих врагов по типу своего хозяйства и управления.

Ни один город любой другой страны, даже наиболее передовой, не устоял бы, попади он в положение, не то что подобное ленинградскому, а раза в четыре лучшее, то есть тоже в достаточной степени тяжелое.

Ленинград устоял потому, что он был и остался своеобразным городом-коммуной. В тот самый день, когда город попал в блокаду, все материальные блага, которыми владели гражданские ведомства, ведомства военные, ведомства флота, были централизованы, соединены в один котел. Они распределялись из единого центра, в зависимости от потребностей

войны. Нет и не было ни одной страны в мире, где такая централизация могла быть произведена. Это не удалось довести до конца Парижской Коммуне, тоже находившейся в блокаде. От Парижской Коммуны Ленинград отличает не только более высокий тип хозяйства, а, главным образом, то, что его передовых людей не раздирает борьба различных групп и партий, которая в условиях Парижской Коммуны являлась выражением социальной борьбы в самом народе. Руководство Ленинграда — политическое, хозяйственное, военное—является цельным, монолитным руководством, составной частью руководства всей нашей страны в Отечественной войне. И все население города сплочено вокруг своего руководства, которое десятками тысяч нитей связано с населением через его лучших представителей во всех районах города.

Мне приходилось много выступать на районных активах Ленинграда — Московском, Дзержинском, Кировском, среди рабочих и интеллигенции, среди военных и моряков. Со многими и многими из этих людей я скоротал бессонные ночи в самых задушевных разговорах о всей нашей жизни и борьбе. И я могу сказать, что самое великое и прекрасное, что выковал Ленинград за месяцы борьбы и страданий, — это они, передовые люди города из среды рабочих, служащих и интеллигенции.

Это они подняли десятки и сотни тысяч ленинградского ополчения, возглавили его и остановили врага под стенами родного города.

Это они в тягчайшие дни страшного голода

и мороза несли огненные слова правды и борьбы в сердца ленинградцев, и город внимал их словам и стискивал зубы, и напрягал последние силы, стоял и боролся.

Это они шли впереди сквозь пургу и смерть, когда прокладывали трассу через Ладожское озеро. И они же подняли сотни тысяч падающих от голода жителей Ленинграда на очистку родного города с наступлением весны.

Все страдания народа они разделили с ним. Мало среди них таких, кто в этой борьбе не потерял самого близкого — мать, отца, жену, ребенка. И сколько из них самих пало в борьбе и лишениях! Но их ряды не поредели. На место павших из среды народа вставали и встают новые.

Они, эти люди, являются той самой высшей духовной силой, которая наполняет всех и все живым историческим, человеческим смыслом и движет всех и все вперед и вперед.

Накануне вылета из Ленинграда я пошел на концерт в зал Филармонии. Симфонический оркестр, под управлением Элиасберга, исполнял шестую симфонию Чайковского.

С трудом удалось достать билет. Толпы народа еще шумели у входа, когда в тишине зала, перед одетыми в черное и [illegible]ми инструменты музык[illegible] [illegible]том высокий, сутуловатый человек, с выразительными белыми руками, в черном фраке. Он поднял палочку, и симфония началась.

И только она началась, лица всех сидящих в зале преобразились. Из будни[illegible] ненных суровыми тяготами и [illegible]

стали ясными, открытыми и простыми. Они не были похожи на лица любого обычного концертного зала. Печать великого знания лежала на этих лицах.

Раза два во время исполнения симфонии начинался артиллерийский обстрел города, а лица людей с тем же ясным, открытым и простым выражением, выражением знания, недоступного и неизвестного людям других мест, были обращены к оркестру.

Ночью — не белой, а темной июльской ночью я был уже на аэродроме. Друзья провожали меня. И снова низко-низко над Ладожским озером летел наш самолет, теперь он летел над подернутой утренней рябью водой, и солнце снова было в лицо,— оно всходило.

Через три часа я был в Москве и вступил в привычные условия жизни. Но еще много дней я не мог привыкнуть к этой жизни. И когда люди говорили мне что-нибудь, я не мог вслушаться в то, что они говорят, и видел только, как они шевелят губами — настолько то, что они мне говорили, было далеко от меня. Снова и снова вставали в памяти моей и этот зал Филармонии, и эти лица, и мощные звуки шестой симфонии Чайковского, восходящие к небу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор *А. Митрофанов*

А2652. Подписана к печати 1/IX 1943 г.
Печ. лист. $4^5/_8$. Уч.-изд. лист. 5,8.
Авт. лист. 5,59. Тир. 25 000. Заказ 1594.

Цена 2 руб. 75 коп.

Типография „Красный печатник"
Москва, ул. 25 Октября, 5.

2 р. 75 к.